

Наринэ Абгарян
представляет



ДВОЙНАЯ РАДУГА

Сборник рассказов и повестей о жизни настоящей, той,
о которой можно рассказывать сквозь слезы — смеясь

3-е издание с изменениями и дополнениями

Каринэ Арутюнова

Юлия Баркаган

Лариса Бау

Елена Миглазова

Анастасия Манакова

Наташа Апрелева

Валерия Иванова

Яна Вагнер

Дарья Алавидзе

Лена Чарлин

Наринэ Юриковна Абгарян

Лора Радзиевская

Двойная радуга (сборник)

Серия «Люди, которые всегда со мной»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8986708

Двойная радуга / [Сборник]: АСТ; Москва; 2018

ISBN 978-5-17-111260-8

Аннотация

Перед вами сборник хорошей прозы.

Разной по звучанию – искренней, грустной, ироничной, злой, берущей за душу. Главное, что объединяет рассказы и повести «Двойной радуги», – настоящесть, та, которую не наиграть, не вымучить, не придумать понарошку.

Мы составили сборник, который можно читать и перечитывать. С которым приятно и уютно быть рядом. С которым, переезжая из квартиры в квартиру, из города в город, из страны в страну, не захочется расставаться.

Приятного вам чтения.

Содержание

От составителя	6
Алеша, гномий Царь	8
Дикие	44
Был такой город	63
Конец ознакомительного фрагмента.	97

Двойная радуга

Сборник

© Авторы, тексты, 2012, 2018

© Наринэ Абгарян, составление, 2018

© Александр Заварин, иллюстрация, 2014

© ООО «Издательство АСТ», 2018

* * *

От составителя

На шестнадцатилетие я получила от мамы прекрасный подарок – сборник рассказов и повестей писательниц ГДР. Сборник назывался «Неожиданный визит». Он действительно обернулся для меня неожиданным визитером, потому что раскрыл чудесный мир небольшой в объеме, абсолютно сильной, реалистичной, настоящей прозы. В мои шестнадцать я опрометчиво считала, что чем больше произведение, тем оно серьезней и ценней. Рассказ Шарлотты Воргицки «Ева» – одна огромная жизнь, описанная на восьми книжных страницах, – доказал мне неоспоримую истину: талантливым может быть любое произведение. Независимо от количества печатных знаков и страниц.

Мне давно уже не шестнадцать, я живу в другом городе, далеко от мамы. Переезд помню особенно отчетливо – волокла на себе неподъемный чемодан, набитый книгами. На самом верху, перетянутый крест-накрест тугими чемоданными лямками, лежал «Неожиданный визит». Книга, которой я очень дорожу, которую до сих пор с удовольствием перечитываю.

Мечта о создании подобного сборника современной прозы, о книге, с которой не захочется расставаться, родилась у меня давно. И наконец она воплотилась в жизнь.

Перед вами «Двойная радуга». Некоторые из представ-

ленных в сборнике авторов издаются уже порядочное время, другие пришли в литературу совсем недавно. Но объединяет их, безусловно, одно – благословенное умение связывать слова в живую мысль.

Наринэ Абгарян

Алеша, гномий Царь



Жизнь у Алеши простая, хорошая, как плотное ватное одеяло бабушки Оли – то, что все из разноцветных треугольников сшито. Бабушка Оля говорит, что это особое одеяло, «замороженное». Такое одеяло приносит только пухлые,

приятные сны; бережет от того, что живет в шкафу и под кроватью, почихивая, поскрипывая в пыльной тьме, перекатывая там круглые, как лохматые зеленые мячики, тихие клубки пыли.

Алеша не знает, что такое «замороженное». Это слово длинное, многослойное, как мамин салат с селедкой и овощами – нужно долго тыкать вилкой, раз за разом, прорывая узкую дорожку в красном, желтом и белом, чтобы добраться до нижнего жирного кусочка соленой рыбы, восхищенно замирая над тарелкой от рябкого вида овощного многоцветья, раскинувшегося по белому.

Ватному одеялу в разноцветных треугольниках много лет, гораздо больше, чем самому Алеше. Бабушка Оля, откинув с края стола белую скатерть в кружевах, перебирает смешными скрюченными пальцами круглые, пахучие гречневые крупинки, отделяет черные и тихо журчит сама себе под нос рассказ, не особо рассчитывая на Алешино внимание. Но Алеша слушает, сосредоточенно выводя на листе круглые линии – сначала ярко-синие, потом коричневые и оранжевые.

На его рисунке бабушка Оля откидывает с края стола угол скатерти, расправляя ее сгиб в ровную линию, высыпает весело подпрыгивающие крупинки горкой на клеенку под скатертью, ставит на колени эмалированную миску, в которую с тихим шорохом смахивает маленькие кучки чистого коричневого цвета, и говорит, говорит. За спиной у бабушки Оли большое зеркало, в котором отражается ее квадратная спина

в солидном велюровом жилете и худые ноги, обутые в фетровые тапочки и толстые носки коричневой шерсти. В отражении не видно рук, но локти ее зеркального двойника так же мерно поднимаются и опускаются, а затылок покачивается почти как маятник часов, ритмичное движение которого видимо Алеше боковым зрением.

– И вот, значит, я ему и говорю: «Не пойду я за тебя, Михаил, пока не сошью себе приданое». Принято у нас так в семье по женской части. А не было же ничего, ничего, Алешенька, не было – ни тканей никаких, ничего другого. А мыто с мамонькой вообще бедно жили: мои полкопейки да ее копейка – вот и все хозяйство. Я служила в школе – полы мыла, убирала, а мамонька – на заводе, при алюминиевом производстве.

А он, дед-то твой, ведь младший офицер, а семья у него – мать учительша, отец первый секретарь райкома, сестра старшая актриска, в Ленинграде служит, как я приду туда голая и босая?.. Попрекать потом будут, что подобрал безродную. И я дала себе и ему зарок, что за год, ни копейки от него не взявши, соберу себе гардероб, да еще белья сундук, чтобы, значит, на первых порах хозяйствовать. Нанялась в три семьи богатые еще кроме школы – убирать, стирать, готовить, за детьми досматривать. Денег не брала – хозяйки мне давали тканей отрезы, пуговиц от сношенного, кружев там, если что снашивалось, – а кружева красивые, жалко их. Спарывали, мне отдавали. Не все: кружева – они ведь доро-

гие.

А еще ходила на рынок и покупала перья с-под кур и гусей, пуха немного – была там такая бабка Луша, возила птицу, своя у нее птица была, дворовая. Так она, как суббота, смотрит, я иду рядами, так сразу раз – и перьев мешок небольшой с-под прилавка тянет. Потом-то, в последние месяцы, так-то стала давать, без денег, – знала-то, что я приданое собираю.

Да все знали, что – город-то меньше тазика. Учительша в школе мимо ходила, кривилась – не одобряла, значит, сыновнего решения со свадьбой. Она идет – в красивом вся, духами пахнет – духи такие, «Красная Москва» были, наподобие царских. А я шваброй шорк-шорк, деревянную лестницу мету, а сама думаю, как наволочки-то простегать – двойным швом или тройным. Она постоит, посмотрит на меня – а я даже ничего не замечаю, мету себе и думаю, как платье шить буду на лето, как раз отрез крепдешина достался за работу. Красивы-ы-ый!.. Но маленький. А мне что, я сама была маленькая, тощая – как раз хватало, если все посчитать. Смотрит она, значит, а потом так тихо говорит, а голос у самой злой: «Какие, Олечка, у вас традиции в семье замечательные, практически помещичьи. Никакого, значит, замужества без приданого за невестой?.. Ах, как интересно. Практически послушание получается. Семь рубашек из крапивы, семь железных сапог». А я мету себе и не слышу, что она такое говорит – так сильно про платье думаю, какая я в нем красивая буду да как Мишу встречу.

Потом я узнала уж, что она Мишеньке-то, а он-то, дедушка твой, уехал на год на заставу на Дальний Восток, письма слала в армию, что я, мол, веду себя нехорошо-недостойно. А Миша ей на то письмо ответил, что оставили бы вы, мамаша, Олю в покое – а то, мол, рассоримся. Я, мол, сам невесту свою знаю получше вашего. А происхождение-то у нас с мамонькой было самое правильное, по тем-то временам, рабоче-крестьянское. Прадеды-то Демидова крепостными были.

Ну вот нашла я, значит, два сундука: в одном платья, рубашки ночные, во втором – подушки, скатерть большая, белье. Днем и вечером, значит, работала, а по ночам шила. У соседки по барaku нашему, бывшей лагерницы, была машинка швейная, дореволюционная еще. Соседка была из интеллигентных, сидела по политической. Пока сидела, муж ее заново женился и даже детей успел родить, ей из имущества только машинку отдал. А как все сделала – думаю: «Так у меня ваты еще полшкафа, да и Михаил еще через два месяца только вертается, да и обрезки тканевой осталось много». Дай, думаю, сошью одеяло. А я вату ведь покупала и складывала, покупала и складывала. Дорогая она была, вата-то, и редкая. Думала, пальто сшить и одеяло детское, задел на будущее приданое ребеночку, уж кто там будет – сын или дочка.

И стала шить одеяло. Стегаю и думаю про себя: «Вот какое хорошее, красивое, яркое одеяло будет, теплое. Будем под этим одеялом, как под морской волной разноцветной,

лежать мы и видеть разные сны – про землю, про море, про самолеты, про другие страны». Там и Михаил вернулся, расписались мы быстро, и уехала я за ним на Дальний Восток, а там уж Варя родилась, Васенька, Сережа, а потом и мать твоя Светка нежданно, я уж думала, отрожалась. Все уж раздала да и выкинула за старостью, а одеяло, вишь, все как новое.

Алеша кивает, успокоенный тихим бабушкиным голосом, толстыми красивыми линиями, которые получают, если наклонить карандаш немного вбок и прижать пальцем грифель к бумаге. Бабушка Оля смотрит на него, пожевывает губами, горько вздыхает:

– Горе ты мое. Луковое. Чай, Алеша, будешь пить? Я сгущенку купила, вареную. Как ты любишь. Чай, говорю, давай попьем?..

Алеша радостно улыбается: чай он любит – крепкий, сладкий, с лимоном и вареной сгущенкой на куске белой булки. Бабушка Оля тяжело поднимается, опираясь на колени руками, хватается за поясницу. Накидывает на место угол белой полотняной скатерти, гладит Алешу по покатоному затылку, ерошит жесткие волосы:

– Иди пока, иди, посмотри телевизор свой, а я на стол соберу да ужин поставлю – скоро уж и мать твоя с работы придет, надо кормить.

Алеша не зажигает свет в комнате. Ему нравится смотреть в уютную темноту большого заснеженного двора, незаметно переходящего в кусок улицы. Двор чистый, белый. Толстый снег блестит под фонарями ослепительно ярко, как квадратные куски рафинада, который бабушка выкладывает из коробки в хрустальную вазочку и ставит в середину стола.

Мама так не делает – не пересыпает чай в яркую жестяную банку, не выкладывает рафинад из коробки в вазочку, ставит все на стол так. И сыр, и колбасу нарезанную кладет прямо в упаковке, только открывает. Бабушка на маму все время за это ругается: что ты, говорит, Светка, как неродная прямо.

За оградой двора полоса улицы. На ней остановка, два ларька – один на «нашей» стороне, второй на «той». За ларьком начинается забор школы, школьный двор и сама школа. Алеша любит смотреть на мелкие фигуры школьников, особенно на маленьких – как утром они нехотя, широко загребая ногами снег, когда еще темно, бредут за родителями вдоль забора, медленно-медленно открывая школьную дверь и проваливаясь внутрь. Вчера одного мальчика папа подталкивал в спину – шел за ним сзади и через каждые два шага легонько пальцами толкал его, а перед дверью вообще взял за капюшон, открыл дверь школы, поставил туда мальчика и закрыл дверь. Алеша подумал, что знает этого мальчика

– это Вова, который живет в доме за спортивным центром с бассейном. У того Вовы такая же упрямая спина, черная шапочка с двумя длинными ушами, синяя куртка и зеленый рюкзак. И руки он так же прячет в рукава, и плечи поднимает. Папа у того Вовы художник, бабушка Оля говорила, что он работает на кинофильмы. С тех пор Алеша, когда смотрит кино, всегда улыбается и думает, что это кино нарисовал Вовин папа. Хорошо, наверное, когда папа рисует кинофильмы. Если бы у Алеши был папа, они бы целыми днями рисовали кинофильмы вместе – про Волка, про Золушку, про Мушкетеров, про Адмирала и Красивую Лизу. Про кого хочешь.

Если прижаться как следует лицом к стеклу и повернуть голову вправо, будет видно лоджию соседей. Там живут Вера, Саша и их сын Мишка. Лоджия точно такая же, как у них с мамой и бабушкой Олей, только на ней стоят лыжи и висит велосипед. «А на нашей лоджии, – думает Алеша, – полка и банки бабушки Оли на зиму».

Он прижимается лицом и обеими руками к стеклу и сильно-сильно скашивает глаза вправо, одновременно поднимаясь на цыпочки. На соседской лоджии торчит одинокая Мишкина голова, завязанная в платок, из-под которого виден еще один платок, а сам Мишка до носа завязан в большой коричневый шарф.

«Привет, Мишка!..» – кричит Алеша и машет рукой.

«Привет, Алеша», – беззвучно отвечает ему Мишка и взмахивает ладонью.

Прошлым летом Мишка вместе со своим другом Геной, который живет в соседнем доме и носит очень широкие штаны, дразнили Алешу, но Галина Петровна, которая тоже живет в их доме, Мишку сильно отругала и сказала, что «грех смеяться над больными», хотя Алеша был совершенно здоров. Потом Мишка стал совсем худой и бледный и почему-то перестал выходить во двор, и теперь только иногда, раз или два в неделю, Саша выносит его на руках, сажает в машину и увозит кататься. И Гена к Мишке не ходит в гости.

Недавно, когда Алеша с бабушкой Олей ходили в магазин, он слышал, как Марина с первого этажа сказала бабушке Оле, что Мишка «нежилец» и «бедный мальчик», хотя, подумал Алеша, почему?.. Когда вот он жилец на их этаже и не бедный вовсе, потому что у Саши красивая машина. Хоть и не новая. А у Веры есть такой большой квадратный телефон с одной кнопкой, который дорого стоит. Мама такой хотела, но потом купила Алеше новые ботинки, курточку, шапку и большую коробку карандашей.

Из школьных дверей высыпает толпа разноцветных детей, размахивающих сумками и рюкзаками. Мальчишки сразу начинают лупить друг друга, пинаться, кидаться снегом; старшие девочки, оглядываясь, забегают за угол школы и достают сигареты. Алеша хмурится – «нехорошо курить».

Девочки курят, изящно отставив руки, выпускают в темный воздух клубы белого дыма, поднимая каждый раз головы вверх. Алеше видно, как вдоль стены к углу пробирается

женщина в длинной дубленке, неожиданно выскакивает из-за угла, и девочки быстро разбегаются в разные стороны. Но одну, самую маленькую, девочку в коротенькой курточке с мехом женщина успевает поймать за рукав и теперь тащит обратно к дверям школы.

– Алеша! Что ты шумишь? – бабушка Оля входит в комнату, щелкает выключателем на стене, и все моментально наполняется мягким оранжевым светом. – Опять лоджию открыл, напустил холода! Простынешь ведь. Иди чай пить.

– Бабушка Оля, – говорит Алеша, – пойду гулять.

– Пойдешь-пойдешь, Алешенька, только завтра. И я с тобой схожу. А еще лучше, мы с тобой завтра сядем на метро и поедем к Кате. Ты же любишь с Катей рисовать вместе?.. А сейчас мать придет, будем ужинать. Она тебе мультики включит, какие ты любишь, про медведя.

Но Алеша зажмуривается и прижимает к лицу сжатые руки, начинает гудеть в нос, в углах глаз, под ресницами, закипают слезы. Бабушка Оля всегда пугается, когда он так делает, всплескивает руками и прижимает маленькую сухую ладонь к коричневым губам, выгнутым вниз горькой скобкой.

– Ну, наказание какое!.. Только оденься тепло, авось и мать внизу встретишь.

Через пятнадцать минут Алеша плотно упакован в рейтузы, теплые брюки с подкладкой из синтепона, толстую неповоротливую куртку, полусапоги на меху и ушанку, которую

бабушка Оля сильно завязывает прямо под подбородком. Из зеркала на Алешу смотрит белое гладкое лицо, похожее на недодержанный в печи каравай, черные круглые глазки под прозрачными бровями, большие улыбчивые губы, нос уточкой. Алеше нравится отражение, он трогает пальцем зеркальный нос, потом свою щеку и говорит:

– Алеша.

Еще через пять минут, торжественно нажав кнопку лифта и поехав вниз, Алеша слышит, как захлопывается дверь квартиры. В животе у него что-то сладко ухает и одновременно съезживается, как будто на качелях быстро качаешься. Он любит ездить на лифте. Выходит, толкает вперед плечом тугую дверь подъезда, выбегает во двор, утопающий в снегу, разбегается и прыгает в высокий сугроб, радостно хохоча.

Вдалеке, наискосок через двор, медленно идут две женские фигуры, оживленно размахивая руками: одна высокая и худая – в шубе, вторая маленькая и толстенная – в пуховике. Рядом с высокой и худой трусит длинная такса в клетчатой жилетке, под мышкой у маленькой и толстенной висит кругленькая собачка, похожая на поросенка, с приплюснутым черным пятачком и завернутым в баранку хвостиком.

– Эй!.. – слышит Алеша, и сразу в затылок влетает твердый снежок, умело пущенный меткой рукой. – Слышь, ты, дурак!

Алеша выбирается из сугроба, оборачивается и тут же получает снежком в лоб, потом в подбородок и плечо. Гена,

бывший Мишкин друг, и Вова, который живет за спортивным центром с бассейном, – тот, у которого папа рисует кинофильмы, – уже накатали новых снежков и метят в него, прищуриваясь для прицела. Алеша закрывает лицо руками в широких варежках, снежки больно бьют его по костяшкам пальцев.

– Ты, даун!.. Хромай сюда!.. – кричит Гена, скашивает глаза к переносице, вываливает язык до подбородка, сгибает ноги в коленях и начинает смешно хромать, отставив попу. Вова хохочет, согнувшись пополам, Гена не выдерживает и прыскает, потом заливается смехом. Алеша тоже начинает смеяться, но неуверенно и немного испуганно. Гена хмурится и бросает еще один снежок, на этот раз в середину груди. Снежок успел облиться водой, оледенеть в его теплой руке, и от болезненного удара Алеша немного покачивается.

– Ну, ты, дебил!.. Что ржешь?.. Над собой ржешь, недоумок?.. Смейся, смейся, умнее не станешь. Хромай сюда, я сказал!.. – Генин голос пугает Алешу громкостью, тягучей, болотной «а» в «сказа-а-а-ал», поэтому Алеша делает шаг назад, потом еще один, и еще, поворачивается и бежит к воротам. Сзади неожиданно бьют под колени, и он падает лицом в снег. Маленький, быстрый, как ящерица, Вова прыгает ему на спину и пытается вытащить из-под двойного тепла толстых брюк и рейтуз резинку трусов, чтобы натянуть трусы на куртку.

Где-то, совсем рядом, он слышит короткий хриплый

вскрик, переходящий в громкий вопль, похожий на тот, которым кричат чайки, и узнает мамин голос.

– Ах вы, сволочи! – кричит мама, и голос ее стремительно приближается к Алеше. Невесомый Вова вмиг соскакивает со спины, и только мягкий снежный топот убегающих мальчишек свидетельствует о том, что они вообще здесь были.

– Сволочи!.. Я вас поймаю и удавлю своими руками!.. – простуженным голосом кричит пока – мама над самой Алешиной головой, невидимые руки рывком поднимают его с земли, разворачивают, смахивают снег с лица. Алеша открывает глаза и улыбается. Мамины щеки в черных полосках, шапка лежит на земле, а Алешина любимая мамина помада цвета «нуд» отпечаталась на кончике носа.

– Мама, – говорит Алеша и садится, – ты медведь панда. У тебя глаза медведя панды.

Мама судорожно втягивает морозный воздух, вздыхает, достает из сумки зеркало и начинает тереть наслюнявленным платком глаза.

– Да, Алеша, как у панды. Бабушке ничего не скажем, хорошо? Бабушка расстроится.

Мама обнимает Алешу, и они не спеша идут к подъезду, обнявшись.

Бабушка, замершая у окна в одном сапоге и сбившемся на затылок пуховом платке, вытирает тюлевой занавеской мутновато-голубые слезы, застрявшие в глубоких морщинах, потом со стоном нагибается, стаскивает сапог и впе-

ревалку идет на кухню.

* * *

Утром они завтракают вместе – маме не нужно никуда идти, и Алеша, счастливо жмурясь, аккуратно и важно ест чайной ложечкой яйцо всмятку, но все равно закапывает весь перёд голубого свитера и очень расстраивается – мама вчера достала его из сумки и долго радовалась тому, какой Алеша в нем красивый.

Мама смотрит в маленький телевизор, стоящий на холодильнике, и пьет черный кофе из пузатой чашки. Чашка старая, сколотая по краям – бабушка Оля говорит, что из того сервиза, который подарил ей на свадьбу дедушка Миша, эта чашка одна уцелела. В руке, на которую мама опирается подбородком, тлеет тонкая сигарета.

Алеша морщит нос – ему не нравится запах дыма, не нравится, когда мама курит, потому что, когда дым выходит через нос, она как будто не мама, а какой-то страшный огнедышащий зверь.

– Ну что, поедem к Кате в гости?.. – Мама сегодня веселая, розовощекая и ясноглазая, совсем не похожая на медведя панду. Алеша радуется: поехать в гости к Кате – это значит увидеть своих друзей Лизу, Зою, Валеру, Вадика, Ота-ра; и повидаться с другими друзьями, которые называются грохочущим словом «волонтеры». А еще рисовать, клеить

из бумаги, лепить из пластилина, смотреть телевизор, играть в «подвижные игры», гладить собаку, пить теплое молоко с песочным печеньем, которое Катя делает сама.

* * *

В метро много народу. Мама говорит, это потому, что выходной день. Люди спокойные, веселые, совсем не такие, как в другие дни. Алеша с мамой заскакивают в вагон и весело плюхаются на свободные места. Мама щекочет его ладонь, Алеша смеется и поджимает в ботинках пальцы ног – очень боится щекотки.

Ехать далеко – до самой станции метро «Таганская», но от метро идти недалеко, всего лишь чуть-чуть пройти за театр. Мама говорит, что это очень знаменитый театр, и, когда она была еще совсем маленьким ребенком, этот театр был единственным, куда ходили «приличные люди». Теперь уже, наверное, думает Алеша, туда всякие люди ходят.

Что такое театр, Алеша знает, потому, что на прошлый Новый год Катя поставила спектакль про лес, где он хорошо сыграл Деда Мороза и все долго хлопали и хвалили его.

Старик напротив Алеши читает газету, широко развернув ее, так, что сидящая рядом девочка вытягивает шею, чтобы выглянуть из-за края. Когда поезд останавливается, он сворачивает газету, держа прямо перед собой, и внимательно прислушивается к голосу, объявляющему станции, а когда

поезд снова трогается, разворачивает и снова погружается в чтение. На газете написано «Метро». Алеша смеется – это очень смешно, когда человек едет в метро и читает газету «Метро». Получается, что, если старик поедет на трамвае, он будет читать газету «Трамвай». А если в автобусе, или в такси, или даже на самолете?..

Крупная женщина с усами, сидящая прямо рядом с Алешей, на очередной станции встает и выходит в открывшиеся двери. Ее место тут же занимает другая женщина – худая и вертлявая, которая до этого нависала над ним, двумя руками держась за поручень, все время крутилась на остановках, что-то бормоча под нос и бросая на Алешу злые взгляды.

Она падает на сиденье и активно шевелит попой в разные стороны, ввинчиваясь в пространство между Алешей и каким-то мужчиной, толкает Алешу в бок острыми локтями.

Уместившись на сиденье, худая женщина некоторое время сидит молча, положив на колени руки с длинными бледными пальцами и острыми ногтями, смотрит на тонкое обручальное кольцо. Затем поднимает голову и начинает пристально разглядывать людей, сидящих напротив.

Кто-то читает, кто-то слушает музыку в наушниках, кивая головой в такт, девушка говорит по телефону, прикрывая рукой рот, мальчик – по виду второклассник – играет в какую-то игру, болтая ногами.

Видимо, они совсем неинтересны худой женщине, потому что она опять начинает толкать Алешу в бок острым локтем

и шипеть:

– Расселся, убогий, совсем обнаглел!.. Еще ляг на меня!..

Алеша поворачивается к ней, улыбается и отодвигается ближе к маме, которая внимательно что-то смотрит в своем телефоне, перебирая кнопки пальцами, и совсем не слышит шипение худой женщины. Мама думает, что Алеша прижимается к ее боку от любви, не глядя, протягивает руку и слегка проводит ногтями по его ладошке. Алеше смешно и щекотно, он тихонько взвизгивает и вжимает голову в плечи, глаза его становятся от удовольствия совсем узкими и искристыми.

Женщина вскакивает с места и начинает кричать, нависая над мамой:

– Женщина! Я вам говорю! На меня смотрите! Возить таких больных надо в такси или на своей машине, а не с нормальными людьми в общественном транспорте! Ваш убогий мне слюней на плечо напускал, неизвестно какой заразы, теперь не отмоешься от нее!.. Не стыдно вам?

Мама медленно поднимает голову и удивленно смотрит худой женщине прямо в лицо. Мамины глаза из прозрачных и голубых становятся темными и блестящими, она сжимает двумя руками Але-шину ладошку и тихо говорит:

– Это называется «синдром Дауна». Это не заразно. Сядьте и успокойтесь.

– Она мне еще указывать будет!

Вдруг старик, сидящий напротив, встает, аккуратно скла-

дывает газету, убирает в карман, застегивает молнию на куртке и внезапно подходит к Алеше, наклоняется, гладит его по голове, берет крепко своей большой рукой, похожей на маленькую лопату, худую женщину за воротник и выводит ее из вагона на остановке.

Девочка, до этого вытягивающая шею из-за газеты, с открытым ртом, не мигая, смотрит на Алешу еще две долгие станции.

* * *

В центре шумно, много народу. Алеша с мамой раздеваются у гардероба и сразу встречают Алешиного друга Отара с мамой Марьям, а потом Лизу с бабушкой Надей. Алеша радуется и целуется с мамой Отара, мягкой и большой, но Алешина мама отчего-то молчит и только раз за разом пытается засунуть Алешин шарф в рукав куртки.

Прوماхивается мимо рукава и снова заталкивает шарф в него. Алеша хочет сказать маме, что это потому, что она не смотрит на рукав, а смотрит в стену, но Марьям мягко берет мамины руки и направляет сжатую до белизны ладонь с шарфом в рукав куртки. Мама как будто просыпается, хотя глаза у нее открыты, и улыбается Марьям, обнимает ее.

Потом они все идут в классную комнату, где играет музыка, и все Алешины друзья сидят за столиками вместе с другими друзьями, которые называются странным словом «во-

лонтеры». Волонтеры помогают лепить, клеить и резать ножницами, получаются красивые бумажные снежинки, тигры на рисунках и снеговики из пластилина. Алеша бежит за столик, где уже сидит Лиза, и сразу начинает рисовать карандашами картинку про то, как они с бабушкой Олей поедут в Африку. Мама с ними в Африку не едет, потому что на следующей картинке Алеша нарисует, как мама едет на поезде в Италию – это страна, где ей бы хотелось жить. Наверное, поэтому мама знает итальянский язык и пересказывает на русский книжки для детей.

Мама говорит:

– Алеша. Я тебя оставлю на три часа, хорошо? У меня недалеко встреча, мне обязательно нужно на нее сходить. Ты же не будешь скучать один? Ты будешь себя хорошо вести?

Но Алеша уже занят картинкой про маму, поезд и Италию, поэтому не слышит. Они с Лизой смеются и толкаются.

Из-за дальнего столика поднимается круглолицая темно-волосая девушка с прической «конский хвост» и глубокими ямочками на щеках, кричит через всю классную:

– Светлана Михайловна, вы идите, я присмотрю за Алешей!.. Мы сейчас будем играть!..

– Спасибо, Катя, – говорит мама и выходит из комнаты.

Когда Катя через пять минут еще раз встает из-за столика, чтобы налить в стакан для кистей воды, она видит, как на улице перед крыльцом центра стоит Алешина мама, обняв себя двумя руками, и раскачивается из стороны в сторону. К

ней подходит высокий мужчина в длинном пальто и длинном шарфе, концы которого взлетают в такт шагам, берет ее лицо в руки, целует, а потом обнимает за талию и уводит куда-то, где их уже не видно.

Отчего-то счастливой девятнадцатилетней Кате становится невыносимо грустно в этот момент и остро хочется забиться на холодный подоконник и плакать на нем до сумерек.

* * *

Через три часа мама не пришла. Отар и Лиза поехали домой, а Алеша еще немного порисовал, потом поел с Катей печенья и решил, что подождет маму во дворе и попрыгает в снег.

Катя посомневалась, но потом подумала, что ничего страшного – двор-то закрытый, ворота на домофоне; помогла Алеше одеться, почти так же, как бабушка Оля, повязала шарф потуже и взяла с него честное-пречестное слово, что прыгать в снег Алеша будет исключительно перед окнами классной комнаты.

Алеша разрушил все сугробы, которые дворник Равиль любовно выстроил на газонах, потом прыгать надоело, да и брюки на коленях промокли; и он решил, что не будет ничего страшного, если встать у кованой ажурной ограды, просунуть через прутья руку и веселить прохожих, выкрикивая

громко слово «БУ-У-У!».

Но прохожие не веселились, а пугались. Какая-то женщина с маленьким мальчиком на буксире отпрыгнула почти на проезжую часть дороги и схватилась свободной от ребенка рукой за грудь. Мужчина с большой овчаркой покрутил пальцем в воздухе около виска, натянув поводок, – овчарка лаяла и пыталась достать Алешу из-за ограды. Наверное, хотела с ним побегать. Поэтому Алеша решил, что нужно просто прижаться лицом к прутьям и смотреть как следует в разные стороны – не идет ли мама.

Мимо шли девочки в модных сапожках, с гладко зачесанными волосами, убранными под круглые резинки, ярко накрашенными курносыми лицами. Девочки перебирали длинными, слишком прямыми ногами с расставленными носками и были похожи на жеребят, которых Алеша видел по телевизору.

У жеребят так же, как у этих легких, длинноногих девочек, коленные суставы выгибались назад, а не вперед; быстрый, мелкий смех, горохом осыпаящий улицу, тоже чем-то неуловимо напоминал залиvistое жеребьячье ржание.

За девочками плотной стайкой, но медленнее шли женщины, несущие на вытянутых руках длинные чехлы с торчащими в разные стороны концами оборок, расшитых стразами.

У Алеши начала болеть голова оттого, что он крутил ею, высматривая в этом потоке маму, но мамы все не было вид-

но.

Алеша решил пойти обратно в классную комнату, еще немного почитать книжку про Пиноккио – больше всего он любил момент, когда деревянный мальчик превращается в настоящего.

Этот момент его всегда приводил в волнение, и где-то внутри круглой, чуть приплюснутой на затылке черноволосой Алешиной головы начинали ворочаться смутные, не до конца понятные мысли о том, что он тоже, тоже мог бы превратиться в настоящего мальчика и как была бы этому рада мама. Настоящий мальчик Алеша сразу стал бы богатым, купил бы маме квадратный телефон с одной кнопкой и билеты в Италию, где они гуляли бы и ели груши прямо с веток, свисающих через невысокие каменные заборы прямо на улицу. Но потом Алеша удивлялся собственным мыслям – как же, ведь он же и есть настоящий мальчик, и смутное, тревожное и немного обиженное чувство стиралось, растворялось в сознании легкой дымкой – до следующего раза, когда Катя откроет большую, яркую книгу и из страниц встанут фигурки деревянного мальчика Пиноккио, хитрой лисы и старого ко-та.

Вдруг он заметил, что рядом с ним, с той стороны ограды, на улице кто-то стоит, смотрит и громко дышит через рот, так же громко хлюпая носом. Алеша важно скосил глаза влево, не поворачивая головы и уж точно не думая разговаривать с незнакомцем. За это мама даже могла наказать, если

увидит.

Чуть сбоку, прислоняясь плечом к рыжему кирпичному столбу, стоял совсем взрослый мужчина. На минуту Алеше показалось, что он смотрит в старое зеркало бабушки Оли и видит свое собственное отражение: такой же бледный круг лица, блестящие черные глаза, немного плоский нос уточкой, улыбочивые толстые губы, такой же рост и широкие, опущенные вниз плечи.

– Привет, – сказал мужчина, неловким движением достал большой платок в полоску и высморкался.

– Привет, – сказал Алеша.

– Ты же Алеша, да? – спросил мужчина и засунул руки в карманы, зябко передернув поднятыми плечами.

– Алеша, – ответил Алеша и подумал, откуда мужчина про это знает.

– А я Руслан, – сказал мужчина, снова достал платок из левого кармана и опять громко высморкался.

– Очень приятно, – ответил ему Алеша и подумал, что теперь бы мама его не наказала, ведь он знаком с этим мужчиной в сером пальто.

– А ты знаешь, Алеша, кто я? Я гном, – сказал мужчина Руслан и посмотрел на Алешу внимательным взглядом. Лицо его вдруг изменилось, из глаз исчезло простодушие, а неясные, как будто смазанные, черты мелового лица проступили четкими линиями и сделали его обладателя еще старше.

– Вы не маленький. У вас нет колпака, – уверенно сказал Алеша и стал вспоминать все, что они с мамой и бабушкой Олей читали про гномов. Гномы были совсем крошками, с румяными щеками и длинными белыми бородами, одевались в смешную одежду и жили в норках в саду.

Еще они ходили в горы и там стучали маленькими молоточками по камням, как в том мультике, который показывала Катя, – где гномов было всего семь и все они носили смешные имена.

Ни одного гнома в этом мультике не звали Русланом.

– Нету, – согласился мужчина, – но мы и не носим колпаков и дурацких голубых жилетов. Точнее, кто-то носит, но не все. Мы не маленькие. Мы такие же, как люди, только совсем другие. Но мы и правда живем под землей. Когда люди видят гнома, они думают, что это просто больной человек. Вот как про тебя думают, что ты больной, а ты гном.

Алеша задумался, потом спросил:

– И Лиза гном? И Вадик с Отаром?

– Да, – сказал мужчина в сером пальто, – только они не знают.

– А их мамы знают? А моя мама знает? – спросил Алеша.

– Нет, – ответил ему мужчина, – не знают. И твоя мама тоже не знает.

– Почему? – удивился Алеша.

– Потому, что так надо, – сказал мужчина и плюнул в снег длинной слюной, достал из кармана пачку сигарет, зажигал-

ку и закурил.

Алеша наморщился, сказал:

– Курить плохо, – и отодвинулся к следующему свободно-
му квадрату в прутьях, снова прижавшись к ним лицом.

– Я знаю, – сказал мужчина и выпустил жирный белый
дым через нос, – гномы вообще не любят табака.

– Пойдем со мной, Алеша, – сказал он, затапывая в снег
окурок носком большого черного ботинка, покрытого белы-
ми разводами.

– Зачем?.. – удивился Алеша.

– Ну, ты наш Царь. Ты нам нужен. Пора уже, хватит тут
с людьми.

– Почему я Царь?.. – еще больше удивился Алеша.

– Потому что Царь. У нас, когда раз в сто лет Царь рож-
дается, мы его людям даем на воспитание, чтобы потом он
мог нас научить, как с ними жить. Знание передать. Какие
они, эти люди. Вот мы тебя твоей маме подменили. У нее-
то совсем другой был сынок. Белый и розовый. С голубыми
глазами.

Алеше показалось, что у него в ушах кто-то громко стучит
молотком, как будто все семь гномов одновременно приня-
лись играть свою каменную музыку. Голова гудела, в ней во-
рочались тяжелые, толстые мысли, налезая одна на другую, –
как это, чтобы у мамы был другой сынок?..

И вдруг увидел внутри своего лба картину, как в кино: по
двору идет мама и ведет за руку мальчика, бело-розового,

голубоглазого, а он, Алеша, бежит к ней и кричит: «Мама, мама!», но мама не слышит и проходит мимо со своим другим мальчиком.

Потом увидел, как бабушка Оля гладит этого мальчика по голове морщинистой, коричневой рукой и протягивает ему большой кусок белой булки, намазанный вареной сгущенкой. Мальчик ест булку и пьет из большой Алешиной кружки с собачкой крепкий сладкий чай с лимоном, а напротив него, одинаково подперев ладонью подбородок, сидят мама и бабушка Оля и улыбаются.

Алеша заплакал, облизывая тяжелые, горькие на вкус слезы, скапливающиеся на кромке верхней губы.

– Ты пойми, Алеша, – сказал Руслан и подошел к нему так близко, что Алеша почувствовал запах сигарет, – у тебя своя жизнь, у них своя. Твоей маме, думаешь, легко с тобой? Ты ей жизнь заел. Тебя ведь все вокруг считают дураком, больным, мама твоя по ночам только и думает: «Вот я умру, с кем Алеша останется?..» Поэтому она и замуж не выходит, и работает много, чтобы все тебе купить. Ты ведь ничего не умеешь по-человечески из того, что они делают – ни приготовить, ни постирать, ни деньги заработать, ни в магазин сходить. А мы живем по-другому, увидишь. Тебе с нами будет лучше. Она несчастная, понимаешь?

Вдруг Алеша замечает на другой стороне улицы маму, которая хочет перейти дорогу, но зеленый все не горит, и она нетерпеливо подпрыгивает на месте, машет Алеше рукой в

белой vareжке. Даже издалека видно, как мама улыбается, и Алеша думает, что этот гном Руслан все врет, что мама счастливая оттого, что у нее есть Алеша, а у Алеши есть она.

Наконец загорается зеленый свет, и мама бежит через дорогу к нему, на бегу смешно раскидывая руки в стороны, как будто обнимает издалека, и улыбается так широко, что в груди у Алеши начинает что-то болеть и стучать.

– Ты, в общем, подумай, я еще приду за тобой, – говорит гном Руслан и засовывает руки в карманы, отодвигаясь от ограды. Лицо его опять становится бессмысленным, широкие губы растягивает улыбка. Подходит мама и целует Алешу прямо через прутья решетки.

– Ну что, Алешка, не замерз?.. – весело спрашивает она. – Поедем домой?.. А хочешь – поехали на каток?.. На Патриаршие пруды?.. Там весело, и музыка играет, и все на коньках катаются. Поехали?.. А по дороге сходим в кафе, я тебя угощу горячим шоколадом, а?..

Потом оглядывается на удаляющуюся фигуру гнома Руслана. Он уже далеко, у ларьков, смотрит на витрину. Алеше видно только спину его серого пальто и квадратный верх меховой шапки. Гном Руслан берет под локоть юношу, который показывает пальцем на витрину ларька, и что-то говорит ему. Юноша отмахивается, но гном Руслан говорит, говорит, и юноша достает из кармана что-то и высыпает мелкие круглые деньги в протянутую ладонь. С этой стороны Алеше лучше видно – он всегда лучше видит вдаль, – что пальто у

гнома слишком тонкое и сильно заношенное, мех на ушанке лысый, брюки и ботинки грязные. К нему подходит какой-то маленький мужичок в грязном пуховике гораздо большего размера, чем нужно, и они вместе скрываются из вида.

– Кто это, Алеша? – спрашивает мама.

– Руслан, – говорит Алеша и вдруг плюет в снег длинной, оранжевой от апельсиновой конфетки слюной.

– Он твой знакомый из центра?.. – мама хмурится. Похоже, что ей совсем не нравится Руслан.

– Он гном. И я гном. Я Царь гномов, – говорит Алеша и смотрит на маму выжидающе.

– Ты не гном. Ты Гулливер! – смеется мама, и Алеша смеется вместе с ней, потому что что-то тянущее и стukaющее в груди наконец-то перестает тянуть и стukaть.

* * *

По субботам Алеша с бабушкой Олей ходят в церковь.

Бабушка говорит, что это правильное дело – надо прийти поговорить с Богом, а то как он узнает, какие у тебя проблемы или что болит?.. Алеша думает, что Бог – это как терапевт Наташа, которой непременно нужно рассказать, что тебя тревожит, и тогда, говорит Наташа, мы вместе сможем это вылечить.

Поэтому Алеша в церкви забирается в угол, за вкусно пахнущий горячим воском круг на длинной ножке, на котором

горят свечи, и начинает искать Бога, крутя в разные стороны головой. Но Бог никогда не показывается, поэтому Алеша просто громко говорит вслух, что у бабушки Оли болят «суставы», а еще болят локти и колени, и такие косточки, которые снизу на ноге, и пальцы на руках, поэтому Бог ее должен обязательно вылечить.

Бабушка шевелит губами под яркими картинами на досках, низко наклоняется перед каждой, с кряхтением трогает рукой пол; нашептавшись, подходит к молодому бородатому мужчине в длинном черном платье, которого все называют Батюшка, целует ему руку, что-то взволнованно говорит. Молодой – такой же, как Мишкин папа, думает Алеша – Батюшка внимательно слушает бабушку Олю, потом сам начинает что-то басить, глядя ее по плечу. Бабушка Оля плачет, утирая покрасневший нос краем платка. Когда они уже уходят, Алеша всегда оборачивается и видит, как Батюшка смотрит им вслед и незаметно крестит бабушки Олину спину.

– А у Батюшки какой ребенок? Мальчик или девочка? – спрашивает Алеша бабушку Олю, когда они уже входят во двор.

– У него, Алешенька, много детей, – говорит бабушка Оля и крепче перехватывает ремень сумочки. – Полный приход у него детей.

И почему-то вздыхает.

У лифта они встречают Мишкину маму Веру. Вера всегда стоит, сильно выпрямив спину, как будто пытается дотянуться головой до потолка подъезда, и неотрывно смотрит в закрытую лифтовую дверь. Не нажимает кнопку и даже не поворачивает голову в бабушки Олину сторону, когда та вызывает лифт. Но когда двери открываются, Вера входит вместе с ними и застывает в углу, как оловянный солдатик, про которого Алеше читала мама. Бабушка нажимает кнопку «11 этаж».

Алеша думает, что Вера похожа сейчас и на солдатика, и на балерину сразу.

На одиннадцатом этаже они выходят из лифта, бабушка медлит и нарочито долго копается в сумке, прежде чем достать ключ.

– Вера, – говорит она, – ты так не убивайся, пожалуйста. Я за Мишку поставила свечей, даст Бог, все наладится. Ты приходи к нам, мы со Светкой всем поможем.

Вера поворачивает голову и странно смотрит на бабушку, одновременно прямой рукой поворачивая в двери длинный тонкий ключ.

– Ольга Станиславовна, – говорит она, – сколько лет вашему Алеше?

– Пятнадцать, – отвечает бабушка Оля.

– А Мишке восемь. И не обязательно, что ему будет пятнадцать, – говорит Вера, прямыми длинными ногами в узких джинсах заходит в квартиру и закрывает за собой тяжелую коричневую дверь из железа.

Бабушка Оля мелко трясет головой, шепчет «Ох, горе-горе горькое», ковыряя в замке ключом. Быстрые, как горошины апрельского дождя, капли бегут по ее глубоким морщинам и теряются в щеках.

После обеда Алеша выходит на лоджию и прижимается носом к холодному стеклу. Бабушка Оля и мама говорят на кухне, что надо бы поехать купить новый шкаф, потому что Алешины вещи уже не помещаются в маленький шкафчик, который покупал еще мамин старший брат дядя Вася «на рождение».

Алеша дышит на стекло, рисует пальцем на молочной, быстро тающей пленке дыхания. Вот мама, вот бабушка Оля, вот дядя Вася и шкаф на рождение, вот Батюшка, вот Катя, вот Отар, Лиза, Вадик и Зоя. Вот Алеша. На голове у Алеши корона с круглыми шариками на острых кончиках.

Далеко внизу, в пустом дворе, маячит квадратная фигура в сером пальто. Алеша машет рукой. Гном Руслан тоже машет рукой, поднимает крышку люка рядом с синей машинкой, заваленной снегом, и прыгает вниз. Крышка люка беззвучно захлопывается.

Алеша поднимает голову и видит, как в белом мушином рое начинающегося снегопада медленно движется большая

черная фигура, тяжело переваливаясь в воздухе. Снегопад становится все сильнее, воздух совсем белый и мутный, как рябь телевизора, и постепенно становится ничего не видно — ни двора внизу, ни соседних домов, ни школы, ни улицы.

Из белой пелены и снежного мельтешения к лоджии внезапно выпадает соседка Галина Петровна. Алеша улыбается ей, прижимается к стеклу и скашивает глаза к переносице, смеется. На Галине Петровне черное пальто с меховым воротником, круглая меховая шапочка на затылке и черные высокие ботинки в рубчик, которые мама называет «прощай, молодость» и запрещает носить бабушке Оле. Галина Петровна висит в воздухе, покачивается, небольшие серые крылья с крупными перьями в затылочной части. Потом хитро улыбается Алеше, прижимает к губам палец и снова скрывается в белом, мелком, сплошном снегу.

Алеша открывает окно лоджии, сильно высовывается, смотрит вверх — хочет посмотреть, как высоко Галина Петровна может летать, но его отвлекает странный звук, похожий на легкое поскрипывание — такое же, что издает дрессированная собака Муся из центра, когда ей чешешь спину.

Алеша поворачивает голову и пытается разглядеть соседнюю лоджию. Снег становится реже, и видно, что окно на ней тоже открыто, а на лоджии стоит Мишкин папа Саша, закрыв лицо руками, и плечи его мелко-мелко трясутся.

Ночью Алеша никак не может уснуть несмотря на то, что мама оставила два ночника – один голубой, над кроватью, и второй, розовый, как зефир-ка, на подоконнике. Алеша смотрит на розовый ночник, подмигивающий темноте за занавеской, и вспоминает свое горе про бело-розового мальчика. Другого, настоящего мальчика.

Он сползает с кровати, аккуратно надевает тапочки – бабушка Оля говорит, что зимой и осенью по полу нужно обязательно ходить только в тапочках, потому что дует из всех щелей, и идет в другую комнату.

– Мама, – трясет Алеша мамино теплое плечо, – мама!..

– Господи, Алеша, ну что случилось?.. – сонно бормочет мама и тянет одеяло обратно на плечо с тонкой бретелькой ночной сорочки.

– Мама, Вера *странная*?

– Нет, Алеша, Вера *не странная*.

– Мама, Саша плакал?

– Может быть.

– Мама, почему Саша плакал?

– Потому, что Миша сильно болеет, и Саша из-за этого очень несчастный, – говорит мама, не открывая глаз, и переворачивается на другой бок.

– И Вера?..

– И Вера.

– И Мишка?

– И Мишка. Иди спать, Алеша, бога ради, мне вставать рано утром.

Алеша возвращается в комнату, садится на краешек кровати и долго сидит, положив на колени руки.

Думает.

Потом встает и снимает пижаму. Открывает шкаф, достает рейтузы, брюки, футболку, серый свитер с молнией. Одевается. Натягивает носки, немного думает и надевает сверху шерстяные носки. Достает из шкафа рюкзак, кладет в него любимую книгу про Мумми-Троллей, шоколадку, немного думает, выходит на цыпочках в кухню. Возвращается и кладет сверху целый батон, банку вареной сгущенки и большую столовую ложку.

Выходит в прихожую, надевает теплые сапоги, толстую неповоротливую куртку и как следует завязывает шапку под подбородком. Открывает засов, тихо поворачивает ключ и выходит, плотно, но очень тихо притворив дверь.

В сонной тишине квартиры лишь слышно, как в кухне рядом с усатой фотографией дедушки Миши тикают настенные часы, похрапывает бабушка Оля и тихо шуршит об обивку брелок в виде серебряного дельфина, покачивающийся на ключе в двери.

В шесть часов утра в воскресный день старший сержант полиции Савельев Олег Владимирович вместе с Лебедевой Светланой Михайловной, проживающей с престарелой матерью и сыном-инвалидом на подведомственном ему участке в районе Южное Бутово, был вынужден прочесывать подвалы и злачные места, хорошо известные ему на районе, в поисках этого самого сына-инвалида, Лебедева Алексея Николаевича.

Светлана Михайловна, имеющая в собственности трехкомнатную квартиру на одиннадцатом этаже его дома, собственными руками вынула Олега Владимировича из кровати, в которой Олег Владимирович, нужно заметить, был не один. Что, конечно же, не могло не повлиять на его настроение.

Но Олег Владимирович – адекватный участковый и порядочный человек, поэтому он, волевой рукой погасив масштабную истерику Светланы Михайловны, к большому сожалению знавшей номер его квартиры, путем затыкания ей рта ладонью, достойно организовал розыскные мероприятия, со скрытым злорадством подняв на уши все остальное население дома и две бригады кинологов с собаками.

Ни к вечеру воскресенья, ни в понедельник, ни во вторник, ни вообще когда-либо розыскные мероприятия ничего

не дали.

Ни Олег Владимирович Савельев, впоследствии переведенный служить в полицию района Тушино, ни Светлана Михайловна Лебедева, спустя два года вытаскивавшая душным летним днем из подъезда бело-розовую детскую коляску, почему-то никогда не обращали внимания на крышку канализационного люка, располагающуюся ровно у колес синей машины «Туарег», принадлежащей бывшей супруге Олега Владимировича.

Эта крышка всегда чуть-чуть сдвинута, и в ровную щель открывается прекрасный обзор всего двора и подъезда номер шесть с высоким козырьком на двух столбиках, небрежно покрашенной покосившейся лавочкой у ступеней и чахлым кустом сирени под низкими квадратными окнами первого этажа.

Правда, бабушка Оля больше никогда почему-то не выходит во двор.

И вот это Царю Алеше очень жаль.

Анастасия Манакова

Дикие

Кира складывает над пальцами ладони лодочкой – это у нее такое колдовство.

Если сложить над вышиваньем ладони определенным образом, это как будто отправляешь свой энергетический заряд туда, в туман полотна. Если делать это раз за разом и честно надеяться, верит Кира, картинка может и ожить.

«Вот просыпаешься однажды – а на куске холста у тебя переливается и движется, движется и переливается. Маршируют оркестры, едут рыцари, закатывается за календарный край солнце, длинные ветви серебристой ивы ложатся в воду, и непонятно, что бликует в холодной апрельской воде острее и ярче – текущие стайки рыб, лунный свет, узкие ножи листвы или золотая нить на платье мертвой вышивальщицы в лодке, плывущей в Камелот», – думает Кира.

Тонкий кончик иглы входит в натянутую ткань с едва слышным стуком, тянет шелковую нитку с легким шорохом. Стежок, игла, кончик – крупная капля крови шлепается в середину полотна.

Минуту Кира морщит лоб, а потом обшивает ее неровные, стремительно расплывающиеся контуры синей шелковой нитью, ловко выводя непрерывный узор драконьей чешуи – и уже через несколько минут пятнышко живой крови становится диковинным синим чертополохом в вазе. Ваза на

столе, стол в комнате, за ним большое окно в старой современной раме, крошащийся от старости мраморный подоконник в неверной резной тени деревьев, шатающихся за стеклом, словно вражеская армия.

«*Бирнамский лес идет на Дунсинан!*...» – протяжно скандирует она, зажимая бледными губами изумрудную нить. Верное средство от зашивания радости, пришивания горести.

Есть у Киры еще одно колдовство: вышивать пространство для жизни упорными стежками. Когда они с Кириллом только въехали в эту коммунальную комнату на Петроградской стороне, Кира сразу поняла, что Питер принял, но не позволит двум диковинным пугливым зверям просто так прийти и обжить эту свою нору. Придется Кире пошаманить.

Как только за агентом закрылась дверь, Кира под хохот мужа отшвырнула ногой в сторону чемодан, метнулась узкой черной змейкой куда-то в угол, встряхнула на пол содержимое икеевской коробки со всяким барахлом и добыла с самого дна заветный мешочек с шитьем.

Вздыхнула, огляделась, пожала острыми плечами, сняла с круглого стола перевернутый стул, натянула на пальцы ткань и очертила первыми стежками эту самую дверь. Потом закрыла глаза, хорошенько *увидела* комнату и на ощупь, вслепую начала подбирать нитки, которыми будет вышивать панорамное ампирное окно, книжный шкаф, узкую кровать, бронзовую люстру модели сталинский ампир, тонущую в об-

лаке крошащейся лепнины.

Ритуальному пришиванию к себе пространства Киру научила соседка по предыдущему, еще московскому жилью, «Вера-кружевница».

Когда Кира с Кириллом, тогда еще два очкастых третьекурсника филфака, решили, что одиночество, помноженное на два, не так оглушает, как клиническое одиночество двух экзотических молчаливых зверей, вселенная, видимо, решила, что это хорошо и «хулы не будет»¹. Сразу же, словно лохматый черт из блестящей коробки, нарисовался однокурсник, обладавший единственной собственностью – крошечной, как пенал, комнатой в коммуналке, скрытой в глубине дворов Бульварного кольца. Сам он ею почти не пользовался, предпочитая жечь огни столицы в барах и постелях случайных возлюбленных, поэтому, покровительственно пошвыривая в темноте кинозала темными очками, вложил в узкие Кирины ладошки связку тяжелых старинных ключей от замков, врезанных, кажется, еще в конце девятнадцатого века. Потом подумал и положил сверху презерватив. Кира покраснела так, что было видно даже в темноте.

Презерватив не пригодился – в пустой трехкомнатной коммуналке было так тихо и темно, что первую неделю Кира и Кирилл испытывали чувство отчаянной неловкости перед тишиной и друг другом, а каждая попытка сдвинуть пуговицу из гнезда одежды отдавалась в пустых стенах таким оглу-

¹ И Цзин, «Книга Перемен».

шительным шорохом, что они попросту не смогли ничего.

Неделя была мучительной. Они приходили с занятий, ужинали, смотрели кино и ложились на диван спиной друг к другу, засыпая под такой же оглушительный стук сердец. Спустя неделю Кира начала ненавидеть Кирилла, себя, эту комнату, этот узкий диван, это братство постели, этот невидимый меч между ними, а также внезапно поняла, что в квартире есть кто-то еще. Стало не только тоскливо, но и страшно. Через неделю веселые таджики за стенкой затеяли ремонт в огромной выкупленной коммуналке, вселенная смилостивилась, выключила тишину, и все удалось. Так Кира с Кириллом поняли, что действительно любят друг друга, неважно – в тишине или грохоте.

Но все же в тишине жил кто-то тихий. Кто-то шуршал по ночам на кухне, переставлял в холодильнике Кирины кастрюльки с неумелыми голубцами, деликатно ел йогурты, дочиста облизывая стаканчик, пил чай с любимыми конфетами Кирилла, старательно доливая кипяток в заварочный чайник. По утрам Кира находила свернутые крошечными квадратиками конфетные фантики, аккуратно спрятанные в щель за подоконником, потому что мусорное ведро на кухне было общим. Она задумалась и вспомнила бабушку Зою – с маминой стороны. В войну бабушка Зоя вкладывала в дверцы шкафов и крышки банок волосинки и нити. Кира вложила ниточки в дверцы кухонных шкафов и в крышки банок с крупами, помечая территорию.

Спустя некоторое время нитки неизменно оказывались сдвинуты.

Спустя еще неделю Кира вышла ночью в туалет и застала на кухне ее – Веру. Пожилую девочку, подумала Кира. Вера стояла сгорбленной, сухощавой спиной в растянутой шерстяной кофте к кухонной двери, нерешительно замерев с пластиковым ножичком над последним куском торта «Прага», который накануне принес Кирилл, и Киру не видела.

– Давайте чаю выпьем? – спросила Кира. Вера вздрогнула и уронила блюдце.

Так они стали жить все вместе.

Потихоньку жизнь наладилась. Вера плела на коклюшках кружевные воротнички и манжеты, а потом стояла у метро, держа нежные паутины на вытянутых пальцах, подслеповато шурилась, вглядываясь в прохожих.

Кира выпадала из гама электрического чистилища в сырые, теплые сумерки, пахнущие клейким тополем, толкала обеими руками тяжелую дверь и на секунду замирала, глядя на Веру.

«Арахна», – думала Кира.

«Кира», – думала Вера.

И они шли домой.

Тишина двора, дверь подъезда. Когда в серой тишине подъезда раздавался стук старинной сетчатой двери лифта, Кирилл поднимал голову от тетрадей и шел греть ужин на троих.



На кухне Валентина Алексеевна привычным движением переставляет кастрюлю соседки со своей части плиты, тяжело вздыхает и, кряхтя, лезет на табуретку. Банка с гречкой стоит всегда на самой высокой полке шкафчика, чтобы никто из соседей не покусился на продукт.

Спички, газ, шорох крупы, постукивающей об эмалированные стенки под натиском воды из-под крана, тихий шорох стрелок настенных часов, бульканье кипящей воды, запах каши.

С тех пор как умер Владик, сытный, резкий запах доходящей до готовности гречневой каши с сильной нотой жареного лука – единственное, что примиряет ее с окружающим миром.

Валентина Алексеевна опирается ладонями о подоконник и смотрит долго-долго в узкий колодец двора, невидящим взглядом очерчивая кривые скаты крыш, темные прямоугольники черновых подъездов, кошачий шабаш на крыше помойки, трогает указательным пальцем холодное стекло.

Потом вдруг вспоминает, что бабушка, царствие ей небесное, всем пирожным в жизни предпочитала гречку – так сильна была память о первом послеблокадном продукте – горсти гречневой каши, сваренной второпях и жадно съеден-

ной почти сырой. С тех пор она так и любила есть гречку – недоваренное зерно, рассыпающееся на крупинки в тарелке.

«Вот гены-то что делают, – думает Валентина Алексеевна. – Владик ведь тоже любил гречку».

* * *

Когда Кира с Кириллом приняли решение уезжать из Москвы, сомнений не было почти никаких – они оба страстно полюбили Питер, каждый по собственным соображениям.

Кирилл – за первое впечатление ленивого муравейника, Кира – за старый эрмитажный альбом, найденный на родительских книжных полках. С желтых страниц пронзительно и печально смотрели миндалевидные глаза Мадонны, мумии протягивали свои высохшие за тысячелетия дары, а веселый арапчонок у царственной юбки как будто подпрыгивал на месте, помахивая каменной ручкой, – скорее, скорее, Кира, приезжай, мы будем катать вместе золотые яблоки по коридору и дразнить дворцового истопника.

«Скоро, милый, – думала Кира, нежно поглаживая расслаивающийся картон корешка альбома. – Скоро увидимся».

Вера не поехала на вокзал – она в принципе никуда не выходила из квартиры, не считая попыток что-то заработать на своем арахнином искусстве, поэтому в скорбном молчании просто вручила Кире «заветный мешочек» с наказом: «Шей

все, что видишь. Тогда *будешь видеть*».

И Кира принялась шить в первую же неделю жизни в «Водном мире», как называл этот каменный ковчег Кирилл.

«Понимаешь, Кира, – говорил он, – куда ни пойдешь – везде вода и корюшка. Такое ощущение, что не полустоличный вертеп, а какой-то одновременно бешеный и тихий приморский городишко, расчерченный на квадраты и поделенный на территории. В одной – рыбу ловят, во второй – продают, в третьей ходят в бары, и везде вода, везде с тяжким грохотом подходит к изголовью. Макондо какое-то».

Кира понимала, что он имеет в виду. Ей нравилась эта ленивая поэма, звонкий городской романс про карету и церковь – с поправкой на то, что у местных церквей все кареты пахли кальвадосом и жареной корюшкой, и управляли ими либо светловолосые вальняжные попы, похожие на викингов, либо веселые чернявые парни, совсем-совсем не понимающие литературную выправку ее речи. Или русский язык в принципе.

Кира ходила по городу, трогала стены и сразу отчаянно, до тонкой дрожи в коленях полюбила Петроградскую сторону со всеми ее закоулками, пустыми дворами с развешанным между турниками бельем, остатками нетронутого модерна и провалами во времени и пространстве. На Петроградской стороне особенно остро ощущались стыки трех городов: Петербурга, Петрограда и Ленинграда.

Ей казалось, что это веселая игра: стоя на перекрестке

трех улиц, попробовать угадать. Из-за какого угла выезжает экипаж, из-за какого угла выходит шеренга суровых матросов в черных бушлатах, расцвеченных алыми пятнами гвоздик и бантов («В белом венчике из роз»), думала Кира, а из-за какого угла внезапно выскочит высокий студент в широкоплечем пиджаке, размахивающий стопкой тетрадей. Никто не выезжал, не выскакивал, не выходил чеканным шагом, неся на груди смерть, заключенную в алом цветке, но ей было достаточно памяти и желания *видеть*.

Хотелось одновременно весь город, и Кира даже испытывала неловкий страх, что Кирилл может догадаться о том, как сильно ей хочется впитать в себя каждую мелкую детальку, каждую неровность стены, каждую трещинку на асфальте.

«Жаль, Вера не видит, – думала иногда Кира, нежно поглаживая оттертые до золотого сияния морды львов на набережной у Академии художеств. – Ей бы понравилось».

Но тихая Вера, заключенная в туманные уже, прозрачные рамки Авалона Бульварного кольца, бледнела, стиралась, и уже ничего было Кире не вспомнить, кроме вытянутых в темноте пальцев с тонкой паутиной кружев и томного, сырого, тополиного, выматывающего запаха московских сумерек.

* * *

Валентина Алексеевна ставит тарелку в медовое пятно

света от абажура над круглым столом, разглаживает ладонями края скатерти со своей стороны, садится.

В глубине квартиры слышно, как гремит посудой соседка Ильмира, громогласная татарка, симметричная и разноцветная, как школьный глобус. Ильмира жарит яичницу, одновременно управляя нетрезвым мужем путем голосовых модуляций – от самого высокого к самому громкому.

«Надо же, – неприязненно думает Валентина Алексеевна, – две октавы, небось. Дал же Господь рогов бодливой корове».

Во дворе компания подростков орет пьяными голосами какую-то ахинею про алюминиевые огурцы, кирпичные стены, районы и кварталы и прочую ересь. Парни гогочут и гремят бутылками, девки визжат, и где-то за гаражами кричат кошки почти такими же неприлично хриплыми голосами, что и девки.

«Надо же, – думает Валентина Алексеевна, – потеплело, выползли. Совсем людей не стесняются».

Кусочек сливочного масла растекается по краю тарелки янтарным ручейком. Она берет ложку и начинает медленно есть, пристально глядя поверх очков на шеренгу черно-белых фотографий за стеклом горки. «Горка, – думает Валентина Алексеевна, – бабушка».

На фотографиях троится Владик, дрожит и расплывается за слезами лицо невыросшего мужчины со светлыми ресницами и взглядом доверчивого щенка.

Постукивает о тарелку мельхиоровая ложка, поскрипывает паркет, падают пяльцы с неоконченным шитьем с кресла.

* * *

– Эй, послушайте! Если кому-нибудь нужно.

Кира подпрыгивает и отшатывается от неожиданности.

Буквально вчера они с Кириллом сидели на причале около Дворцовой площади и, шутя, бодали друг друга лбами, как телята. Кто кого перебодает, того любимый поэт и лучше.

У Киры всегда был Маяковский, у Кирилла Есенин. Кирилл терпеть не мог Маяковского за «снобское пожирание жизни деревянной лопаточкой», а Кира терпеть не могла Есенина за «тошнотворный пафос». Кирилл оперировал обидным сочетанием «сухая злобная филфачка» и тут же получал его обратно – «Ты еще не забыл, что мы однокурсники?..»

Серьезный мальчик с глазами цвета корицы под скульптурной линией бровей, сведенных в грозную прямую, внимательно смотрит, как ей кажется, ровно в середину Кириных мыслей, хорошенько упрятанных под белой косой челкой.

– Мальчик, – Кира сразу же понимает, что впервые за долгое время говорит вслух с кем-то, кроме Кирилла, – мальчик, ты чего-то хочешь?

– Если это кому-нибудь нужно, то я не буду брать, а если не нужно, то я заберу, – говорит мальчик и указывает паль-

цем на скамейку, на которой лежит Кирина сумка с вышивальными принадлежностями и термосом.

Под скамейкой лежит велосипедное колесо с погнутыми спицами.

Кира начинает смеяться, громче и громче, пока хохот не побеждает окончательно природную стеснительность.

– Забери, конечно, мне это не нужно, – говорит она. – Шоколадку хочешь?

– Нет, спасибо. Но вот он будет, – говорит мальчик и стягивает с плеча лямку рюкзака, из которого торчит огромная кошачья башка. Башка увенчана рваными ушами и двумя довольно злыми глазами, которые тут же впиваются в Киру взглядом – снова, как ей кажется, ровно в середину мыслей, минуя лицо и даже невнятную преграду в виде черепной коробки.

– О господи, что за зверь такой у тебя там сидит? Кошечка? – улыбается она и тянется погладить круглую башку. Башка бешено вращает глазами и шипит, как будто намекая, что лишние конечности на поздний завтрак ей кажутся вполне заслуженным питанием. «Сама ты кошечка», практически слышит Кира внутри собственной головы и инстинктивно отдергивает руку.

– Не, это кот, – пыхтит мальчик и тянет колесо из-под скамейки. – А ты не могла бы подвинуть ноги? Спицами зацепилось.

Кира поджимает ноги, мальчик упирается коленом в ска-

мейку и с коротким самурайским вскриком выдергивает колесо на волю.

– Это вчера Максимов угнал велосипед у дворника, я так думаю, прыгал по бордюру и сломал его. Руль за гаражами лежит. Я почию, отдам обратно. А что ты делаешь?

– Вышиваю. Видишь? Это дом вон тот, это ворота, это сирень. Это «мерседес», а это качели.

– Красиво. То есть другие люди красками рисуют, а ты вышиваешь? А зачем?

– Знаешь, мне всегда кажется, что если пришить мир нитками, то он никуда не денется. Это такое колдовство у меня – пришивать все, что видишь, к себе. Тогда оно навсегда останется с тобой. Хочешь, давай я буду вышивать вас с котом и потом отдам тебе картинку? Тебя как зовут? Меня Кира.

– Меня зовут Артемий, а его Дуэнде.

Кот выбирается из рюкзака и лезет между ними, аккуратно переступая по Кириным коленям мягкими лапами. Мальчик и кот смотрят на длинные Кирины пальцы с тонкой серебристой улейкой иглы между волнами ниточек. Идущий мимо мужчина роняет пакет, в пакете разбиваются яйца и растекаются бледно-желтой лужицей по асфальту.

«Смерть в яйце, яйцо в ларце, в яйце кольцо, в кольце игла. В той игле смерть Кощеева», – внезапно думает Кира и выбирает белую нитку, чтобы вышить блик солнечного зайчика в кошачьем зрачке.

* * *

Валентина Алексеевна прячет под стопку книг старый плюшевый альбом с фотографиями и, тяжело переступая отекавшими по теплой погоде ногами, идет к платяному шкафу. Достает шаль, укутывает поясицу – как бы тепло ни было, а артрит никто не отменял. В уголке пустой верхней полки сиротливо притаились скомканные ярко-красные джинсы. Владику бы они понравились – он вообще любил красный цвет. С тех пор как надел пионерский галстук. Все свои модельки красил красным.

Она смахивает в тарелку со скатерти одинокую гречневую крупинку и думает о том, что еда – это очень важно. Особенно, если вместе. Ритуал такой.

* * *

– Кира!.. Кира!..

Кирилл несется через двор по лужам, подпрыгивая на носках своих неразменных черных «конверсов», привезенных мамой из Америки. Никогда не снимает эти кеды – ни зимой, ни летом, ни в жару, ни в холод. Зимой – шерстяные носки и кеды, летом – японские носки с пальцами и кеды. Кира сделать с этим ничего не может – ни «аидасы», ни

умеренный «найк», ни клевый ноунейм из шикарных питерских секондов, которые Кира покупает, не работают с Кириллом и месяцами пылятся по углам в пакетах, не вызывая никакого интереса.

– Кира! Я взял у Дани мопед! Давай поедem кататься по набережной? Ты наденешь платок и очки, как француженка, и где-нибудь в районе Адмиралтейства я куплю бутылку неприлично дорогого шампанского, посажу тебя на колени, и мы будем смотреть на огни на реке.

«И на корюшку, – думает Кира. – Ненавижу корюшку».

Практически у каждого дома по улице выставлены разные матрасы на выброс. Большие и маленькие, односпальные, двуспальные, от диванов, от раскладушек, в разной степени убитости. Прожженные, в пятнах соуса и свечного парафина, масляной краски и других пятнах, не вызывающих сомнений.

«Весна, – думает Кира. – Вес-на. Люди выбросили матрасы и делают отныне все свои дела на полу».

Почему-то ей представляется светлый деревянный пол из неструганых досок, похожий на яхтенную палубу. На этом полу находится куча мелких-мелких людей в ярких сине-белых полосатых тельняшках, и каждый очень занят своим делом. Кто-то варит борщ. Кто-то любит друг друга. Кто-то детей укачивает.

Игрушечная белая «Веспа» несется по набережной.

Огни осыпаются в реку, и где-то слышен хриплый, как

горькая джазовая нота, гудок парохода, идущего под разведенным мостом.

* * *

Кира сидит на подоконнике и плачет. Весь день идет дождь, потому Кира и плачет – никогда не известно, кто из них двоих моделирует это явление. Когда Кира плачет, погода всегда портится, но Кира ли включает дождевую кнопку, город ли ее включает – они оба так и не научились разбирать.

Лохматый Кирилл, запустив пятерню в русую бороду, задумчиво рисует на бумажной салфетке Кирилл птичий профиль, острый силуэт: короткие растрепанные волосы на затылке, делающие ее похожей на нахохленного воробья, острые поднятые плечи, длинные ноги, подтянутые к подбородку коленями.

С тихим скрипом открывается дверь, и в комнату wpłyвает Валентина Алексеевна, несущая кастрюлю с гречкой.

Густой запах наполняет собою все пространство – от выщербленного паркета до лепных ангелов на скругленных углах потолка, забивается в поры, в волосы, в нос.

Киру начинает мутить – нет никаких сил уже каждый день терпеть этот запах ритуальной каши для ушедшего Владика, вид этой мучительно прямой спины за круглым столом, этого взгляда и этого молчания. Чувствуя, как внутри нарастает скрученное в торнадо бешенство, она слетает, словно сухой

лист, с подоконника и бросается к Кириллу.

– Я тебя умоляю, сделай что-нибудь, поговори с ней. Это же просто невозможно, в конце концов.

Кирилл флегматично пожимает плечами:

– О чем я с ней поговорю? Ты последний раз помнишь? Она с тобой о чем-то поговорила?

Валентина Алексеевна подходит к шкафу и тянется за красной тарелкой на верхней полке. Падает и разбивается чашка, Валентина Алексеевна идет на кухню за веником. Кира стоит у шкафа, обняв себя крест-накрест руками, и раскачивается из стороны в сторону.

– Я так больше не могу, Кирилл. Не могу. Не могу.

Валентина Алексеевна возвращается, аккуратно обметает осколки фарфора вокруг ее тапочек, старательно не задевая ног, и снова уходит на кухню, демонстративно прикрыв дверь. Кирилл подходит к Кире, берет ее на руки, сажает на подоконник, обнимает за плечи и крепко прижимает к груди, к мягкому теплу рубашки. Кира смотрит Кириллу в лицо, потом запускает тонкие длинные пальцы в бороду. Он садится рядом, и они долго смотрят во двор, где в полумраке у крыльца подъезда белеет маленькая «Веспа», похожая скорее на елочную игрушку, чем на машину с колесами.

Прямой спиной к ним, за круглым столом сидит Валентина Алексеевна.

– Алексевна! Алексевна! – Ильмира врывается на кухню, как маленький танк, не обремененный чувством такта. – Чо ты надумала?

– С чем, Ильмира Рашидовна? – надменно поднимает Валентина Алексеевна нарисованную графитовым карандашом бровь, помешивая ложкой в ковшике сублимированный порошок какао, разведенный соевым молоком.

– С вещами, говорю, чего надумала?!

– С какими вещами?

– Жильцов своих, которые на мопеде убились. С какими, она спрашивает. Ну, этих твоих, хипстеров. Мне одежда для Алки пригодится, может, отдашь? И потом, от них осталась техника какая, давай я отдам Сереге, он продаст лучше. Тебе деньги, ему процент.

– Я подумаю, Ильмира Рашидовна. Подумаю, – говорит Валентина Алексеевна, встает на цыпочки и тянется к верхней полке кухонного шкафа.

Большая грудь болезненно упирается в угол полки, роста не хватает, но она упрямо тянет кончики пальцев к банке с гречкой.

Ильмира выжидающе смотрит на это, потом подходит, ставит рядом с Валентиной Алексеевной табурет.

– А все-таки знаешь, Алексевна, дикие они какие-то были,

честное слово. Сидели все сами с собой, нет бы с людьми выйти поговорить. А эта дура малохолдная вообще ходила с мебелью разговаривала. Дикие. Что сказать. Хипстеры.

* * *

Кира натягивает на нос ворот широкой кофты, зябко потирает ладони. Вздыхает и втыкает в полотно иглу, привычным движением накидывая сразу два стежка. В тишине комнаты тикают напольные часы. Охрипший, но все еще мелодичный репетир поет о милом Августине, все пройдет, все. Пахнет табаком. Клеем. Краской. Гречневой кашей.

На широком мраморном подоконнике сохнет маленькая красная модель самолета.

Анастасия Манакова

Был такой город



Предисловие

Когда не сможешь сознаться в том, что города – того, в котором жил когда-то, уже не существует, как не существует

и тебя самого, и эта твоя прогулка не более чем фикция, мираж, сюрреалистическая картинка, на которой голубым раскрашено небо, а грязно-белым – дома, и радость твоя от того, что день этот непредвиденно хорош, – радость эта тоже не вполне настоящая – она вне рамок того, что называлось твоей жизнью, она за гранью, за пределами.

Города нет, как нет дороги, ведущей к дому, который никуда не сдвинулся со своего места, не сдвинулся, не сгинул, не обвалился, оседая этажами, перегруженными случайной, большей частью устаревшей мебелью, собранной в году этак семьдесят девятом в братской социалистической республике – ГДР или Чехословакии, – как нет, впрочем, и самой республики, а мебель наперекор всему похрустывает изношенными суставами.

Так и стоит, кренясь балконами, забитыми всякой всячиной, допустим, подборкой журнала «Юность», начиная с шестидесят пятого, или пыльными новомирскими изданиями, а еще истончившейся газетной трухой, в которой свинец, продолжая испаряться, травит чахлые растения в неуклюжих горшках.

Велосипедный насос, растрепанный скрипичный смычок, чехлы неизвестного предназначения, ракетки для тенниса, бельевая веревка с многократно высушенным и трижды отсыревшим в полоску и блеклый горошек, горсть деревянных прищепок, справочник по машиностроению, конспекты, исписанные ученическим, со старательным нажимом в начале

и легкомысленно-расплывающимся к концу.

Связки писем «от него к ней», «от нее к нему» – перетянутые резинкой, – их никто не читает, и страшно подумать, почти не пишет. Затянутая в полиэтилен вечнозеленая елка. Переложенные клочьями ваты, еще почти совсем целые игрушки. Избушка на курьих лапах. Космонавт с поднятой левой рукой. Шестипалая снежинка на длинной ноге.

Города нет, как нет и того, кто одним махом взлетал на пятый, кажется, пятый или все-таки четвертый, – сначала одним махом, потом с небольшими остановками между этажами, потом – медленно занося левую ногу над ступенькой, мужественно преодолевая третий пролет, – кошачий закуток останется таким же живописным и сегодня, – с картонкой, в которой живое и незащищенное требует тепла, и молока, и продолжения жизни, – тянется к свету, к слабой полоске, падающей из правого верхнего угла, где железная скоба, выкрашенная в неопределенно тусклый цвет, так и не закрывается, и не закроется никогда, и потому от холода сводит пальцы, – в уже неважно каком году, потому что года этого уже нет, как нет меня, его, ее, – нет причин и обстоятельств, и повода стоять в глубоком колодце двора, запрокинув голову, считать окна, в которых, возможно, еще теплится, горит, любит.

Бродить в темноте, разбрасывая спички, много спичек, мусоля пустой коробок, – пока где-то не залает собака или не забрезжит первая звезда, – как сладко прощаться наве-

гда, дышать в спину прозрением, безразличием, – выдыхая, отсекая, вырывая, – изношенную, ненужную, устаревшую – случайную, конечно же, случайную, благополучно погребенную под завалами.

Ее никто не искал. Никто не искал, не допытывался – вот город, шумит, сверкает огнями, витринами, штукатуркой, фасадом, – а в глубине двора качели поскрипывают жалобно, и дерево под окном.

Был такой город

На золотом крыльце сидели
Царь, Царевич,
Король, Королевич,
Сапожник, Портной...

К дому можно пройти «тудой» или, в крайнем случае, «сюдой».

Через гастроном, панельный серый дом, палисадник. Или через соседский двор, банду Котовского, инвалида на колесах.

Инвалид добродушный, когда трезвый. И очень страшный в пьяном состоянии. В пьяном состоянии видеть его можно нечасто.

«Колька бушует, опять надрался», – добродушно посме-

иваются соседи, и я с любопытством и ужасом поглядываю туда...

О, сколько раз являлся ты во снах мне, заросший кустами смородины, мальвой и чернобrivцами, старый двор. Два лестничных пролета, и эти двери, выкрашенные тусклой масляной краской, и персонажи, будто вырезанные из картона, раскрашенные чешским фломастером.

Отчего Танькин отец черный, как цыган, и злой? Отчего он трезвый, и злой, и красивый? Отчего колотит Таньку, дерет как сидорову козу за любую провинность и каждую четверку? Отчего Танька, сонная, с квадратными красными щеками, похожая на стриженного под скобку парнишку-подмастерье, боится, ненавидит и обожает своего отца? Отчего мать ее, большая женщина в цветастом халате, из-под полы которого выступает полная белая нога, – отчего плывет она по двору, будто огромная рыба, огромная перламутровая рыба с плавниками и бледными губами, на которых ни улыбки, ни задора.

Отчего бушует Колька, скрежещет железными зубами, рвет растянутую блекло-голубую майку на впалой, как у индейца, груди, – отчего слезы у него мутные и тяжелые, отчего грызет он кулак и мотается на своей тележке туда-сюда, бьется головой о ступеньки. Шея у него красная, иссеченная поперек глубокими бороздами. Отчего на предплечье его синим написано... И нарисовано сердце, пронзенное стрелой.

Мимо первого подъезда пробегаю торопливо, оттого что

пахнет там водкой и «рыгачками». Танька называет это так. Тяжкий дух тянется, вьется по траве, добирается до нашего второго, не иначе как по виноградной лозе, прямо на кухню, где хозяйничает и кашеварит моя бабушка – бормочет и колдует над смешным блюдом под смешным названием «холодец».

– Шо вы варите, тетя Роза? – Голос у Марии звонкий и певучий, и сама Мария прекрасна, с выступающими скулами, икрами стройных ног – прекрасна, как Панночка, жаркоглазая, она парит над домом, свесив черные косы. Они разматываются как клубок, стелятся по земле, струятся.

Прекрасна в гнев и в радости, в здравии и в болезни – прекрасна с седыми нитями в затянутых на затылке волосах, с красными прожилками в цыганских глазах, с паутиной лихорадки на скулах, – она расплзается в пьяной улыбке, прикрывая ладонью прорехи во рту. Сиплым голосом выводит куплеты – застенчиво прячет за пазуху червонец. Долго смотрит мне вслед.

Отчего Мария несчастна? Отчего если свернуть «тудой», то можно увидеть, как разворачивает крыло бабочка-капустница, как тополиный пух окутывает город, забивается в глаза, ноздри, щекочет горло.

Отчего так прекрасны соседские девочки, шестнадцатилетние, недостижимо взрослые, загадочные, с тяжелыми от черной туши веками, – пока я купаю в ванночке пупса, они уже отплывают в свою взрослую жизнь. Я завидую им, я раз-

личаю их запахи. Медовый, карамельный – Сони; щекощуще-дерзкий, терпкий, удушливый – Риты; сливочный, безмятежный – Верочкин.

Аромат тайны витает по нашему двору. Что-то такое, что недоступно моему взору, непостижимо, оно щекощет, и волнуется, и ранит.

– Иди сюда, – говорит мне Рита, самая удивительная из всех, самая отчаянная. Воодушевленная «взрослым» поручением, я слетаю по лестнице, несусь по улицам, сжимая в кулаке записку. Я готова на все. Носить записки, беречь ее сон, думать о ней – не знаю, я готова на многое, но это многое непонятно мне самой, что делать с ним, таким тревожным, таким безбрежным.

Рита носит чулки телесного цвета, и тогда ее длинные шоколадные ноги становятся молочными. Чулки пристегиваются там, под юрким подолом самой короткой в мире юбки. Когда я вырасту, то куплю себе такие чулки и такую юбку.

Пока я верчусь в темной комнате, вздрагиваю от наплывающих на стену теней, она выходит из машины, пошатываясь, помахивает взрослой сумочкой на длинном ремешке. Девочка в белом кримпленовом платье. В разодранных чулках, взлохмаченная, похожая на поникшую куклу наследника Тутти. Имя нежное – Суок.

Отчего бывает дождь из гусениц? Толстых зеленых гусениц? Они шуршат под ногами, скатываются, слетают с дере-

вьев, щекочут затылок.

Хохоча, он несется за мной с гусеницей в грязном кулаке. Слепшая от ужаса, я уже чувствую ее лопатками, кожей, позвоночником. «Вот тебе», – дыша луком и еще чем-то едим, пропихивает жирную пушистую тварь за ворот платья.

Его зовут Алик.

Когда-нибудь я отомщу ему. Я выйду из подъезда, оседлаю новый трехколесный велосипед. И сделаю круг вокруг дома. Круг. Еще круг. Еще.

Отчего похоронные процессии такие длинные, такие бесконечные? Отчего так страшна музыка? Эти люди, идущие молча, в темных одеждах. Его мать в черном платке. Падает, кричит, вырывается из крепких мужских рук. А вот и Колька Котовский на колесиках. Слезы катятся по красному лицу.

Море стрекочущих в траве гусениц, зеленое, черное, страшное. Мир перевернулся. Отчего так страшно жить?

Тополиная аллея ведет к птичьему рынку, на котором продают все. Покупают и продают. Беспородных щенков, одногоглазых котят, мучнистых червей. Топленое молоко, разноцветные пуговицы, сахарные головы.

Пока я расту, растут и тополя. Шумят над головой, кивают седыми макушками.

Если пройти «сюдой», то можно увидеть очередь за живой рыбой, кинотеатр, трамвайную линию, бульвар, школу через

дорогу и другую, чуть подальше, – а еще дальше – мебельный, автобусную остановку, куда нельзя, но очень хочется, потому что там другие дворы и другие люди, совсем не похожие на наших соседей. Туда нельзя категорически, потому что уголовники ходят по городу, воруют детей, варят из них мыло.

Если вызубрить точный адрес, все не так страшно. Чужая женщина ведет меня, крепко держа за руку, – это добрая женщина с усталым лицом и полупустой авоськой. Она непременно выведет меня к дому, на мой второй этаж, – «туда» или «сюдой», не суть важно.

Все дороги ведут туда, к кирпичному пятиэтажному зданию с синими балконами, увитыми диким виноградом.

* * *

– До чего мы дошли! – В голосе ее сдерживаемое с трудом отчаяние. – Куда катится мир! – Она воздевает руки и закатывает один глаз – второй, как я успеваю заметить, остается на прежнем месте – острый зрачок неотступно следит за всем происходящим, – наверное, она и спит так – с воздетыми в ужасе руками и подпрыгивающим любопытным зрачком.

– Куда катится мир, – с горечью повторяет она уже на пороге, – девочки рожают детей! – В раме двери – монументальный бюст и квадратная голова в косынке. Форма головы обусловлена наличием бигуди, располагающихся рядами от

лба к затылку.

Захлопнув дверь, бабушка откашливается, явно маскируя одной ей свойственную иронию:

– А кому еще рожать? – Она пожимает плечами и преувеличенно громко гремит посудой.

Итак, девочки рожают детей. Я тщательно перевариваю новость. Верчу ее и так и этак – что-то в этой схеме явно не складывается. Ну хорошо – мальчики детей не рожают, это и дураку ясно, но любой мало-мальски приличной девочке просто-таки на роду написано родить ребенка. Рожать необходимо, рожать стыдно, рожать неприлично, рожать страшно.

– Рожать – это больно, – деловито сообщает Танька, – все кишки порвешь, пока...

Почему кишки? Я деликатно выясняю, как именно происходит... Бабушка выпроваживает обеих на улицу. У нее куча дел, сообщает она, подталкивая нас к двери, – белье, глажка, курица.

По двору слоняется Алик. Он щелкает ногтем по спичечному коробку и пропихивает туда грязный палец.

– Кусается, гад, – уважительно замечает он, поглаживая жесткое синее крыло неведомого насекомого.

Я тоже просовываю палец и замираю на секунду, сраженная мощным сопротивлением ничтожного существа.

Алика мой вопрос ничуть не смущает. Продолжая дразнить жука, он снисходительно поглядывает на мою расстро-

енную физиономию.

– Очень просто, – разъясняет он, – через жопу. Детей рожают через жопу. По-другому никак.

Жопа. Это неприличное слово. Во всяком случае, дома его произносить не рекомендуется. Но дома – это одно...

Через жопу? Значит, все, решительно все, даже придурковатая Любочка... Даже старуха Ивановна. Танькина мама. Тамара Адамовна с четвертого, красивая женщина с усиками над ярко-красным ртом. В конце концов...

– Нет. А я думала, – осторожно протестую я, – что им разрезают живот, и...

Алик хохочет. В лице его появляется нечто гнусное, издевательское.

– Детей рожают жопой, – выкрикивает он так громко, что просыпается мирно дремлющая под крыльцом рыжая в серую полоску кошка. Она приоткрывает испещренный ржавыми пятнышками глаз и шмыгает в круглое отверстие в стене, такой специальный кошачий люк, где живет огромное кошачье семейство.

А вот и виновница спора. Сбегает по ступенькам, размазав выгоревшие за лето кудряшки по смуглым плечам.

Ноги ее в желтых синяках. Глаза красные.

Рита, цветок моей тайны, что сделали с тобой злые люди...

– Держите меня! – Обезумевшая, простоволосая, мечется по двору такая непохожая на Риту Ритина мать. – Добе-

гальса, тварь? – Она тяжело дышит, прикладывая ладонь к левой груди, выдыхает обидные слова, вдруг обмякает всем телом, похожая на старую ватную куклу с вытаращенными глазами-пуговицами.

С каждым днем Рита становится все более прекрасной. Она плывет по пустынной улице, склонив растрепанную голову чуть набок, ничуть не стесняясь огромного живота, похожая на огненный цветок, вдруг распустившийся вопреки всем пересудам.

Я вижу ее отяжелевшие щиколотки, ее упрямую усмешку, коричневые узкие запястья. Худые пальцы с обгрызенными ногтями. Прошлогоднее короткое платье лопается на груди, топорщится на животе. На ногах – стоптанные белые босножки.

Хочется подбежать к ней, обхватить руками высокий живот и застыть, вдыхая пряный аромат, пробивающийся сквозь изношенную ткань.

Целую вечность мы простоим так, прислушиваясь к приливам и отливам далеких лунных рек, там, в недрах моих сновидений.

* * *

Это такой город...

Точно как на открытке. Весь в сугробах. Белый и даже немножечко голубой. Смешно проваливаться валенками и

смеяться от холодной щекотки в ногах.

– Высунь ногу, – закричит Рита, – сейчас же высунь ногу, – и побежит, смешно ковыляя, заваливаясь чуть вбок.

Рита хромая. Хромая уже давно, и она вряд ли выйдет замуж – так, во всяком случае, считает Селя, а Селя уж в чем-в чем, а в этом понимает.

Селя понимает в отрезах, крепдешине и шелке, в швейных машинках, в мужских и женских фигурах – плечах, бедрах, животах:

– Скажите, пожалуйста, – задыхаясь от смеха, стонет она, – она хочет талию, где я ей сделаю талию? Где? – выпучив глаза, перекусывает нитку и яростно жмет на педаль швейной машины. – Кто говорит толстая, не толстая, а настоящий окорок – воротничок я могу, манжеты могу, но куда я этой корове воткну талию? – Селя резко останавливается и хлопает себя по лбу.

– Рита, – вопит она истошно, – дрянь такая, мать все видит, мать не слепая! – она разворачивается на удивление резко и шлепает Риту пониже спины.

Рита высовывает длинный розовый язык и застывает так – зрачки ее ползут к переносице, а кончик языка почти достигает кончика носа.

– Идиотка – испугают, так и останешься с кривой рожей, – из последних сил Селя делает строгое лицо, но не выдерживает и, мелко сотрясаясь грудью, подмигивает, – не, ну вы видели эту малахольную?

Раздается оглушительный звонок – запахивая платок, Селя перебирает короткими ножками – в двери – «мадам полковник», та самая, которая окорок, – давась смехом, мы с Ритой подаем знаки за «полковничьей» спиной. Масла подливает умильный, сладкий, просто липкий Селин голос – еще минута, и она стечет на пол, образовав небольшую лужицу вокруг так называемой талии «мадам», у ее тупоносых туго зашнурованных бот сорок третьего, не иначе, размера.

– Ша, – сгиньте уже мне, – Селя украдкой сует нам по конфете, продолжая подпрыгивать и суетиться вокруг важной клиентки. Сопя, я натягиваю валенки, шубу, шапку.

В прихожей тесно, особенно зимой.

Обвязанная поверх шубки колючим шарфом, я жду, пока Рита затянет шнурки на ботинках – один ботинок тяжелее второго, вот, пожалуй, и все, и если не знать об этом, то можно не думать о Ритиной ноге, – по двору она носится отчаяннее любого мальчишки, и в выбивного, салки и штандера нет ей равных. «Галоши, галоши», – ворчит Селя вдогонку и захлопывает за нами дверь.

По двору мы слоняемся, утаптываем только что выпавший снег и уже почти начинаем замерзать, как вдруг обжигающая лепешка летит мне в лоб и за шиворот – пока я стаскиваю варежки, Рита несется к черному входу и оттуда корчит рожи, – дура, – кричу я, размазывая снежную кашу по лицу, но

Рита делает благовоспитанное лицо девочки из приличной семьи и взлетает на третий этаж. Там тепло, и важная клиентка допивает свой чай. Она отставляет пухлый мизинец и сочувственно кивает головой – при виде нас делает «большие» глаза и умолкает.

– Ах, Тamarочка Леонидовна, – всплескивает ладошками Селя (оказывается, у «мадам полковник» есть имя), – ах, Тamarочка Леонидовна, это же невозможно что за жизнь – вертишься как белка в колесе, а какой с этого прок? – Театральным жестом Селя разводит руки в стороны, как бы приглашая гостью постичь тайну окружающего ее мироздания – мироздание довольно уютно и безалаберно в этот зимний вечер: оранжевый гриб торшера с косичками бахромы, потертый коврик на полу, стрекочущая швейная машинка. Сервант со стеклянными дверцами, за которыми угадываются стопки синих «блюбочек» и чашек, почтенное семейство белых слонов, тикающий на весь дом пузатый будильник.

Шифлодик с несметным количеством таинственных предметов – разнокалиберных пуговиц, матерчатых, костяных и даже золотых, – цветных стекляшек, булавок, наперстков. Явно захватанные руками занавески из желтого тюля, особенно с той стороны, где Рита делает уроки, – в комнате довольно душно, зато не дует – все щели предусмотрительно оклеены специальными полосками бумаги, а придвинувшись к печке, можно погреть озябшие конечности, что мы с Ритой и делаем, прикладывая к изразцам то ладони, то пятки. Над

сервантом возвышается деревянная статуэтка орла с могучими распахнутыми крыльями и невозмутимо хищным профилем.

Рита утверждает, что никакой это не орел, а ангел-хранитель. Я с ней не согласна, потому что не раз видела, как на самом деле выглядят ангелы. Чаще всего это толстые младенцы с ямочками во всех местах и едва заметными крылышками на лопатках. Ангелы напоминают кокетливых женщин. У них шаловливые пятки и томные дразнящие глаза. Но Рита утверждает, что ангелы бывают какими угодно, хоть даже орлами, хоть невидимками.

«Вот ты манную кашу в ведро выбросила, а ангелы все видят». «Во-первых, не ангелы, а Ленин», – с жаром возражаю я – повсеместное присутствие Ленина меня не пугает, а успокаивает: Ленин везде – на календарях, открытках, в актовом зале и на первом этаже школы у входа. И везде он добрый. Задумчиво вглядывается в наши лица и мечтает о счастливом будущем. Собственно, это будущее уже наступило. И мы в нем живем.

В замечательном пятиэтажном доме, в прекрасной комнате, окнами выходящей во двор, в котором голубятня, будка сапожника, деревянные качели, – если пройти сквозь арку между домами, то попадаешь напрямиком к трамвайной линии, от которой два шага до магазина живой рыбы и гастронома, в котором продают ситро, томатный сок...

– Яблочный, – утверждает Рита, – яблочный гораздо луч-

ше.

Я не люблю спорить – яблочный так яблочный, хоть я предпочитаю все же томатный, но самый вкусный – березовый. Если в дереве просверлить дырочку, оттуда потечет самый вкусный в мире сок. Но в нашем городе мало берез. В основном клены, каштаны, тополя. Целая аллея тополей через дорогу. В темноте они раскачиваются и гудят. И поют низкими мужскими голосами. Как правило, поют они «черемшину». Я не знаю, что такое черемшина.

Рита говорит, что это растение, а я думаю, что имя девушки.

– Это о любви, – задумчиво произносит Селя и смотрит в окно.

Тополя поют о любви густыми мужскими голосами, но сейчас они молчат. Зима. На нашей улице – зима. И поют только в доме. Например, Криворучки этажом ниже. Поют они чаще хором – муж, жена и многочисленная родня – бабули в цветастых платках, крепкие краснолицые «кумовья». Если отбежать от дома на приличное расстояние, то в проеме окна можно увидеть сидящих за столом людей. Головы их раскачиваются, как верхушки тополей, и поют они долго, веселое и грустное. Женский голос выкрикивает игриво: «Ты ж мене пидманула», – а зычные мужские подхватывают и вторят: «Ты ж мене пидвела! Ты ж мене молодого з умарозуму звела!»

Как все счастливые семьи, Криворучки не наблюдают ча-

сов и петь могут долго, до поздней ночи. Потом они, наверное, так и засыпают за длинным покрытым праздничной скатертью столом, а просыпаясь, опять затягивают свои «писни».

Криворучкиных «родичей» много – они суетятся, втаскивают корзины, много корзин. Пахнет от них странно. Луковой шелухой, антоновкой, жареными семечками, сухофруктами. И еще чем-то остро-кислым.

– Село, – констатирует Селя, включая радио, – что с них возьмешь?

По радио передают «театр у микрофона». Самое время забраться с ногами на диван, усадить на колени кошку...

Наконец, дверь за «мадам полковник» захлопывается, и Селя выбрасывает вслед аккуратную, вылепленную из сложенных пальцев правой руки «дулю», – в ближайшие пять минут мы узнаем о том, что мадам – сквалыга, лицемерка и всячески оттягивает уплату аванса, хотя два платья уже давно сшиты в кредит. Можно подумать, у нее нет наличных, – ну где такое слыхано, нет наличных при живом муже-полковнике, – а вот у нее, Сели, таки есть наличные – на сахар, варенье и клецки, – при слове «клецки» Селя умолкает и внимательно смотрит на нас.

– Так, – изрекает она, – хоть вы и порядочные паршивки, но борщ на третий день – самое то, марш мыть руки и за стол. Два раза нам повторять не надо, хотя Селин борщ – это отдельная история – родители запрещают мне есть «соседскую

тряпню», впрочем, ничем серьезным не обосновывая свой запрет. Они явно чего-то недоговаривают и тревожно переглядываются. Несколько позже я узнаю, что Селя страшная неряха. Нет, она золотая, но, понимаете, у нее и пахнет как-то... специфически – нет, у нас прекрасные отношения, но как жить в одной квартире с человеком, у которого всегда что-то горит и по столу свободно разгуливают кошки – кошки и коты – Туся, Анвар, Тюлька.

Везде кошачья шерсть, окурки, мокрые скрученные в жгут тряпки, кастрюли с благоуханными остатками вчерашнего, а то и позавчерашнего...

Стоя посреди всего этого бедлама, Селя по-хозяйски упирает руки в боки.

– Если кому-то сильно мешают кастрюли, так пусть этот «кто-то» их и моет. Не может интеллигентный человек (тут она не спеша, со вкусом закуривает, выудив в горе окурков приличный), не может, – повторяет она, выпуская колечко дыма, – интеллигентный, образованный человек все время держать в голове кастрюли! А кошки? – Тут Селя срывается на трагический полусшепот: – Кому мешают божьи твари? Это ж чистое золото, а не кошки.

Мне лично кошки не мешают, ну разве что немного – особенно беременная Тюлька, которая к концу беременности становится пугливой и раздражительной.

– У беременных – гормональный фон, – изрекает Селя, вытирая мокрые руки о занавеску, – придумают же такое –

кастрировать кота, последний мужчина в доме – и кастрировать! – это еще вопрос, кого надо кастрировать! Иди до мамы, киця моя. – Она вытягивает губы трубочкой и издает странные горловые звуки. – Анвар, Анварчик, иди, дам рыбки. – Селя гладит кота по могучей спине и отодвигает ногой Тюльку. Тюлька урчит и элегантно переставляет странные ножки, будто на пуантах, – легко взлетает на печку и оттуда свешивает облезлый хвост.

Через месяц разразится скандал, и Селю осудят все, потому что потворствовать кошачьей любви – это одно, а топить плоды этой самой любви в нужнике – совсем другое.

– Это фашизм, самый настоящий фашизм, – скажет Гоголева из соседнего подъезда, – так только фашисты поступали и евреи, совсем живых котят, крошечных, беззащитных...

Озираясь по сторонам, Гоголева поведает еще несколько страшных историй о евреях.

– Ну хорошо, – нерешительно скажу я, – я знаю и хороших евреев, и никто из них не то что котят... Вон Генечка из восьмой, Ямпольские или Даниил Абрамыч по рисованию.

– Так то другие, – зачистит Гоголева, сглатывая слюну, – я ж не говорю за всех, кто говорит за всех. Есть евреи хорошие и есть – плохие, это тебе каждый скажет.

Поднимаясь по лестнице, я медленно соображаю, кого же можно отнести к первой, а кого – ко второй группе, и начинаю подозревать, что Гоголева, как обычно, врет или что-то

путает.

Я знаю некоторых евреев – например, Генечку, безобидную старушку из восьмой, – она, вне всяких сомнений, относится к «хорошим». А куда определить ее внука, губастого Женьку Фридмана? Фридман – врун. Он врет на каждом шагу. В школе, во дворе, дома. Врет так убедительно, виртуозно, что не поверить ему невозможно. Даже если сто раз вспомнить, что он врун. Но вспоминаешь об этом уже потом. Потому что честнее Женькиных глаз...

– Врут все, – утверждает Рита, – Женька еще что.

– Да, – покраснев, соглашаюсь я, вспомнив, как убеждала всех и вся в том, что родилась в цыганском таборе, что родители мне не родные, а приемные, и меня подбросили – вот только сложно сказать, цыганский это был табор или индейское племя.

В пролете первого этажа меня останавливает Ивановна. В наброшенной на плечи телогрейке она спускается с переполненным мусорным ведром.

– У вас учора гости булы? Водку пылы? С балкона рыгалы? – Ивановна сверлит меня любопытными глазками.

Единственным оправданием шума в ее глазах может быть разве что гулянье, сопровождаемое «писнями» и неумеренным возлиянием.

– Да, гости, пили, рыгали! – с радостной готовностью кричу я в подставленное ухо – удовлетворенная старушка отпускает меня с миром, – ну не признаваться же ей в том, что

мы с Риткой учились танцевать шейк, а потом в большом тазу купали Тюльку, а мыльную воду выливали, конечно же, в окно.

* * *

— Селя Марковна, — откашлявшись, скажет мама, — вы понимаете... дети, ведь дети видят и все понимают, какой пример вы... подаете... — припечатав ладонью губы, мама выскочит за дверь, потому что вид плавающих розовых хвостов и лапок... лапок и хвостов...

История с котятами забудется, конечно, до поры до времени, но всплывет в один черный день, когда Рита, опустив похожую на облако голову, сознается в страшном, почти непроизносимом, и Селя, медленно осев на пол, будет раскачиваться из стороны в сторону, размеренно вбивая себе в грудь пухлые кулачки.

Некоторая демонстрация почудится мне в ее горестном раскачивании, в судорожных всхлипах и тоненьком визге, слышном всем без исключения соседям и даже проходящим мимо нашего дома.

— Я знала, — произнесет она вдруг трезвым голосом, подозрительно спокойным для отчаявшейся матери. — Я знала, — повторит она, приоткрывая птичий, затянутый пленкой подрагивающего века глаз, — волчья порода, так испоганить мою жизнь, так испоганить, — взвояет она, подпрыгнув.

Далее последует серия звонких пощечин, упорное молчание преступницы, объятия, жаркая ругань вперемежку с обильными слезами.

– Кто он? – выдохнет Селя последнее, в ответ Рита еще ниже склонит голову, оберегая тайну своего в одночасье повзрослевшего тела.

Но это будет потом, в почти неправдоподобном будущем, до которого еще десятки и сотни дней, ночей, праздников и будней.

Например, таких, как этот.

Когда крепко держа за одну руку меня, за другую – Риту, всплывает Селя в невообразимой красоты здание с колоннами, лепным потолком и рядами кресел, обитых темно-вишневым бархатом.

– Боже ж ты мой, боже ж мой, это такая красота, – восторгается она, украдкой поглядывая на Риту в новом, буквально на днях сшитом, платье с присобранными рукавчиками и белым воротничком.

Мы входим по контрамарке, оставленной одной из Селиных клиенток. Обязательно запасаемся программкой и биноклем, чтобы потом вырывать его друг у друга из рук, всматриваясь в изможденные лица балерин и мощные торсы их партнеров.

На торсы смотреть неловко, потому что очень уж выразительно...

Рита подталкивает меня локтем и шепчет на ухо... Я опускаю глаза. С правой стороны – вздымающаяся от восторга Селина грудь, слева – сверкающий Ритин глаз, впереди, на сцене, – порхающий в обтягивающих бедра рейтузах... почти голый...

Я сдерживаюсь из последних сил, пытаюсь не смотреть ни вправо, ни влево, ни...

Плотно стискиваю губы, закрываю лицо руками. В какой-то момент тешу себя надеждой, что ничего в этом смешного нет, но ловлю на себе Ритин взгляд, и вот тут-то...

На сцену выпархивает полуобнаженная дева в блестящих шароварах и, сладострастно извиваясь, она исполняет нечто зажигательное, шаг за шагом сокращая расстояние между собой и порхающим по сцене мощным торсом.

Сидящие впереди сердито оборачиваются, сзади шипят.

С грохотом откидываются сиденья кресел. Тяжело дыша, Селя выволакивает нас в фойе.

Даже там, уклоняясь от подзатыльников, мы продолжаем корчиться и стонать.

– Чтоб я еще когда-нибудь, – пылая щеками, шеей и грудью, Селя втискивает обе руки в рукава шубы, крохотная вышитая бисером черная сумочка плотно прижата к груди – Селя как огня боится уличных хулиганов – в этой стране разве можно ходить спокойно по этим бандитским улицам приличной женщине, – у входа в ближайший гастроном она задумчиво роется в сумочке и шевелит губами: – Ну шо, убий-

цы, шо вы скажете за два маленьких пирожных – допустим, с заварным кремом?

У Риты одна нога чуть короче другой. На мой взгляд, ничего ужасного в этом нет. Ну короче и короче, подумаешь. Зато у Риты растрепанная шапка пепельных волос, напоминающих облако. Волосы у Риты не падают вниз, а растут вверх и в стороны. И вдобавок выются мелким бесом. Оттого всякие банты, косички и невидимки – вещь совершенно излишняя на Ритиной голове. Наверное, ей и причесываться по утрам бессмысленно. Из-за торчащих волос и прихрамывающей походки Риту можно узнать издалека.

Вон несется она из гастронома через дорогу – несется, размахивая авоськой, в которой серый ржаной, и полбатона, и двести грамм докторской.

Мужчины у пивного ларька умолкают.

Еще вчера Рита была малоинтересной пацанкой в растянутой майке, с чернильными пятнами на ладонях и шее.

Сейчас же ее шея стремительно вырывается из воротничка, и так же стремительно вырываются ноги из-под подола слишком короткого школьного платья. Учебный год подходит к концу, и девочки донашивают купленное «на вырост» в прошлом году, в конце августа.

Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, март, апрель...

За несколько месяцев учебы в плохо проветриваемых

классах так много важного происходит.

* * *

«Пацанка» становится «неисправимой босячкой» — напрасно Селя призывает свидетелей и богов — Рита неуправляема.

В сумерки ее можно видеть раскачивающейся на детских качелях. Упираясь ногами, она приседает, и качели взмывают вверх. Шальная улыбка и взметнувшийся подол короткого платья.

— Будет кому-то головная боль, — посмеивается Сима из будки на углу. У Симы глаза будто вакса, а волосы похожи на щетку с самой жесткой щетиной. Многие думают, что Сима — цыган — смуглый, поджарый, только серьги в ухе не хватает. Сима так черен, что им можно пугать маленьких детей. Но найдите хоть одного ребенка, который испугается и заплачет при виде Симиных глаз.

Сима знает жизнь, целыми днями наблюдает он ее из окошка своей мастерской и видит разных женщин — старых, молодых, юных.

Он видит их ступни — узкие, непорочно гладкие, точно морские камешки, — тяжелые, неповоротливые, шершавые, как пемза, лодыжки — стройные и отекающие, подъем — чем круче, тем сладостней, округлые колени, мощные икры — часами он мнет в пальцах набойки и, не вынимая полдюжины

гвоздей изо рта, сыплет анекдотами – женщины любят, когда смешно, – они любят, когда смешно и красиво, – уж будьте уверены, Сима умеет делать красиво, и Сима понимает в красоте.

– Зай гезунд, Селя Марковна, зай гезунд – ваша девочка – тот еще бриллиант, – произносит он и поднимает вверх жесткий палец.

Кто, скажите, уже не первый год шьет на заказ сапожки – один чуть тяжелее, другой – легче, – кому, если не ему, как свои пять пальцев знать чудесные Ритины ножки, каждый сладкий пальчик и каждую косточку.

Опираясь на костыль, Сима не отрывает взгляда от качелей – они взлетают все выше – над гаражами и сапожной будкой, в звонкой тишине июльского вечера.

Сима хорошо знает женщин. Он знает, когда они упрямо молчат, когда заливаются румянцем и вызывающе смотрят в глаза. Даже если им только тринадцать, и груди у них маленькие и твердые, будто зеленые яблочки.

После семи он запирает будку, возится с замком, но не спешит. Дома все равно никто не ждет, а девочка стоит рядом, кусая губы.

– Иди домой, к маме, уроки учить, – повторяет он, не сводя с нее глаз.

– Какие уроки, Сима, когда лето, какие уроки, – будто бы говорит Рита, хотя на самом деле молчит. Молчит и глаз не отводит, бесстыжая.

– Зайди, босоножки почию, – спохватывается он.

– Как же, уже зашла, – качает головой Рита и будто бы делает шаг назад, а потом – вперед. Вперед-назад, вперед-назад.

– Иди уже домой, Рита, – почти умоляет Сима, продолжая возиться с замком, пытаясь то ли закрыть, то ли открыть его снова.

* * *

За стеной низкий грудной голос плачет о чем-то невыразимом – я различаю слова на чужом языке – бесаме, бесаме-мучо, – голос рвется и плачет, – тропические птицы щелкают клювами и сверкают радужным оперением.

Там, на дне этого голоса, – солнце, море и что-то еще. Может быть, большой сочный фрукт, похожий на грушу бере, истекающую приторно-сладким соком.

Краешек лета – осталось совсем чуть-чуть – оранжево-синий лоскуток августа, с отгорающими садами, с примеркой прошлогодней формы.

Селя всплескивает руками и пытается натянуть подол платья на исцарапанные Ритины коленки. Рита задумчиво накручивает на палец выгоревшую прядь и ужасается, увидев в зеркале серьезную растрепанную девочку в хлопчато-бумажной майке, длиннорукую и чем-то взволнованную, – собираясь во двор, она плотно стягивает ребра обрывком

ткани и, когда мяч с разбегу летит ей в грудь, уже не прикрывается пугливо ладонями.

Глиняный человек или человек-гора.

С каждым днем образ его обрастает новыми подробностями. В последний раз его видели у окон женской бани недалеко от Воробьиной горы, а до того – в женском туалете школы.

Жирная Глебова, выдыхая острый котлетный дух, припечатывает меня ладонями к стене:

– Он такой.

– Какой? – спрашиваю я.

– Ужасный, ужасный. – Пухлые щеки Глебовой трясутся. – Большой! – Придвинув лоснящиеся губы к моему уху, она произносит стыдное слово – начертанное на заборе, оно кажется вполне невинным, но проговаривать его страшновато, и Глебова, будто испугавшись собственной смелости, замолкает, помаргивая щелочками карих глаз.

Малоподвижная фигура с шеей, будто скованной панцирной сеткой, мелькает за газетным киоском и у ворот школы – он, – вздрагивает мое сердце, – человек-гора провожает взглядом щебечущую стайку школьниц и тут же растворяется меж серыми домами – прогулки во дворе и походы за хлебом превращаются в тоскливое ожидание встречи с ним, – возвращаясь домой, я стараюсь побыстрее прошмыгнуть в глубь подъезда и там, не дыша, липкими пальцами ощупываю дно портфеля в поисках провалившегося за подкладку ключа.

В тот день все совпало – странная тяжесть внизу живота, ощущение вины и страх разоблачения.

Человек-гора сидел так близко, что отступить было поздно.

Он сидел молча, обхватив руками колени, и смотрел на меня.

Он смотрел неподвижными глазами, в которых застыло выражение бесконечной муки и пустоты – это было похоже на колодец с мутной тяжелой водой. Издав горлом странный звук, я попробовала сдвинуться с места, но ноги не повиновались мне – все пропало, все пропало...

В то лето наблюдалось невиданное доселе нашествие красных червей. Черви были везде – они лопались и шуршали под ногами, скатывались за шиворот, срывались с деревьев целыми гроздьями.

Червивая дорожка устилала двор, доводя до форменной истерики впечатлительных. Предвещали близкий конец света. Предчувствие конца света приятно согревало и будоражило.

Кого в преддверии катастрофы волнует нерешенная задача по алгебре или неверный морфологический разбор? Кому нужны свежие воротнички и манжеты? Политинформация? Испещренный тройками дневник?

– Дети, – стряхивая пепел в горшок с бегонией, Селя скорбно вглядывалась в наши более чем беспечные лица –

будто прощалась навсегда, – мы что, мы уже свое прожили – детей жалко...

В ожидании неминуемого конца люди становятся добрей друг к другу.

– Как вы себя чувствуете, Селя Марковна? – участливо допытывается Гоголева-старшая.

Вдруг ей срочно понадобилось узнать, как чувствует себя соседка.

– Ой, и не говорите, Людмилочка, – Селя горестно машет рукой и из последних сил изображает безысходность, – с утра изжога, просто сил никаких, колени ломит и сердце как кость в горле – ни туда ни сюда.

Гоголева более чем удовлетворенно кивает.

– А вы слышали?

– Вы за конец света? – к беседе присоединяется глухая Геня, она прикладывает ладони к ушам, брови ее горестно ползут вверх.

Селя и Гоголева перекрикивают друг дружку, призывая в свидетели Генечку.

Оказывается, у каждой из них свой способ противостояния надвигающейся катастрофе. Соседка Ивановны – безбровая и бесшумная женщина невнятного возраста, которую все называют Анечкой, – отстаивает кипяченую воду. Безразмерные баки и кастрюли громоздятся в прихожей, на кухне, в кладовке. У всех конец света, паника, а у Анечки – порядок, тишина, красота. Сидит себе на табурете, кипяченую

водичку попивает.

У старичка-библиофила с пятого – мешки с крупами и консервы. Неприкосновенный запас – хитро посмеивается он одним глазом. Второй у старичка всегда закрыт. Отчего-то он кажется каким-то беззащитным, этот второй глаз. Я стараюсь не смотреть на него. Но открытый глаз – как раз очень бойкий. Задыхаясь, старичок втаскивает на свой пятый стопки книг. Как он там помещается в своей однокомнатной квартире между книжными стопками и мешками с крупой, вообразить сложно.

По лестнице поднимается инженер Петровский. После безуспешных попыток избежать цепкого захвата Петровский вежливо выслушивает обвал новостей. Он покашливает, требует аккуратную бородку и всячески изображает случайность своего участия в собрании жильцов.

Петровский – интересный мужчина. Этот факт довольно часто упоминает Селя, вздыхая и ежась, словно от щекотки. Петровский – интересный мужчина в годах. Интересный, а главное, перспективный.

Как бы там ни было, при появлении перспективного мужчины поведение мамыши Гоголевой и Сели меняется на глазах. Гоголева расправляет плечи, взбивает жидкие локоны и почти угрожающе выставляет массивное белое колено. Селя незаметно оттесняет Гоголеву и тщательно подбирает слова, стараясь произносить их мягче и интеллигентней. Глаза ее прямо-таки светятся и излучают – буквально на глазах она

теряет лет двадцать, не меньше.

Пока собравшиеся обсуждают невеселые перспективы, мы с Ритой уносимся в парк.

Конец света все-таки еще не сию минуту. А сегодня есть дела поважней.

Эпицентр событий сосредоточился между четвертой средней школой, парком культуры и отдыха с задумчивой статуей пионерки и танцплощадкой, куда мы проникаем, минуя строгие ряды дружинников с красными повязками.

– Милый Карлсон, веселый Карлсон, большой чудак, – ударяет по струнам флегматичного вида юноша со свисающими вдоль впалых щек бесцветными прядями.

После «карлсона» следует «как виденье неууумолиимо, каждый день ты прохоооодишь мимо – и я повторяю вновь и вновь... не умирааай, любовь... не умирай...»

Гвоздь программы – «генералы песчаных карьеров».

Под «генералов» вершится сокровенное. Кавалеры приглашают дам. Дамы приглашают кавалеров. Если под «карлсона» можно прыгать и дурачиться, вскидывая руки и ноги кверху, то с «генералами» все обстоит иначе.

Кульминационным моментом считается медленный танец. По-настоящему, по-взрослому медленный. Медленный танец кажется бесконечным прощанием перед... неизбежным?

Тайным и стыдным, щемящим и долгожданным. Танцую-

щие едва переступают ногами, приникают друг к другу почти в изнеможении, обвивая руками плечи и бедра, а некоторые еще и укладывают голову партнеру на грудь.

Малышня с замиранием ожидает выхода Кобылы.

Кобылой называют самую высокую девушку с кривоватыми тощими ногами и огромной подпрыгивающей грудью. Она танцует, стоя на одном месте, покачиваясь из стороны в сторону, подтягиваясь с носка на пятку и раздражаясь особенным, волнуящим, волнообразным движением, отчего грудь ее колыхается точно фруктовое желе, – к слову сказать, многие пытались повторить ее подвиг, но не у всех получалось.

Сегодня Кобылу «танцует» Чебурашка. Верзила с рябым лицом и оттопыренными ушами. Чебурашку боятся и уважают. Через какой-нибудь год ему дадут срок за ограбление магазина канцелярских принадлежностей.

Кобыла и Чебурашка раскачиваются в центре танцплощадки с демонстративно равнодушными лицами. Нам с Ритой Кобыла кажется довольно старой. Наверное, ей целых двадцать, а может, все двадцать два.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.